



РОССИЙСКОЕ

ИТ. ЗАЛ

УЧ. БИБЛИОТ.

62-253.

ОК
✓

80m.



37.62.1.256 а

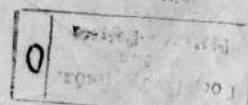
37.62.1.256 а

Г. В. ПЛЕХАНОВ

Р. П.
18

РУССКИЙ РАБОЧИЙ В РЕВОЛЮЦИОННОМ ДВИЖЕНИИ

(ПО ЛИЧНЫМ ВОСПОМИНАНИЯМ)



0 дм. 18270.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА - - 1922 - - ПЕТРОГРАД

I.

Первый рабочий революционер, с которым столкнула меня судьба, был довольно известный когда-то в русской революционной среде, Митрофанов, впоследствии умерший в тюрьме от чахотки. Я познакомился с ним у студентов медицинской академии братьев Х., в конце 1875 года. Митрофанов был уже тогда „нелегальным“ и жил у братьев Х., скрываясь от полиции. Как и все студенты-революционеры того времени, я, конечно, был большим народолюбцем и собирался „итти в народ“, понятие о котором было у меня, однако, — опять-таки как и у всех нас, студентов-революционеров того времени, — очень смутным и неопределенным. Любя „народ“, я знал его очень мало, а лучше сказать не знал совсем, хотя и вырос в деревне. Когда я в первый раз встретился с Митрофановым и узнал, что он рабочий, т. е. один из представителей „народа“, в моей душе шевельнулось смешанное чувство жалости и какой-то неловкости, точно будто я в чем-нибудь перед ним провинился. Мне очень хотелось заговорить с ним, но в то же время я решительно не знал, как и в каких выражениях стану с ним разговаривать. Мне казалось, что язык нашего брата-студента будет совершенно непонятен этому „сыну народа“ и что в разговоре с ним я должен держаться того нелепого, переряженного слога, которым были написаны многие из наших революционных брошюр. К счастью, Митрофанов вывел меня из затруднения. Он заговорил первый, и не помню уже как разговор перешел на революционную литературу. Я увидел, что мой собеседник читал не одни только ряженные брошюры. Ему знакомы были сочинения Чернышевского, Бакунина, Лаврова, и он умел отнестись к ним критически. Журнал и газета „Вперед!“ казались ему недостаточно революционными. Он склонялся к „бунтарству“ и отстаивал этот способ действий с помощью тех же самых доводов, которые приводились обыкновенно „бунтарями“-студентами. Удивлению моему не было границ. Личность Митрофанова решительно не входила в узкие рамки моего сантиментального представления о „народе“. Зато тем более заинтересовала она меня. Я стал часто встречаться с Митрофановым и жадно расспрашивал его об его революцион-

ной деятельности в народной среде. Из всех слоев народа ближе всего ко мне, по моему тогдашнему положению, были, конечно, петербургские рабочие, и вот я засыпал своего нового знакомого вопросами о том, что представляют они собою. Митрофанов относился к ним отрицательно. Из его слов выходило, что настоящий народ это крестьянство, городские же рабочие в значительной степени развращены и проникнуты буржуазным духом, вследствие чего революционеры должны идти в деревню. Подобные отзывы, вполне соответствовавшие нашим собственным представлениям о народе, не могли возбудить во мне склонности к ближайшему знакомству с петербургской рабочей средой, и в течение нескольких месяцев Митрофанов оставался единственным, лично известным мне, рабочим. А между тем в то время велась в этой среде довольно деятельная пропаганда, в которой и мне пришлось вскоре принять посильное участие.

В самом начале 1876 года случилось так, что не было подходящей квартиры для революционной рабочей сходки. У меня на Петербургской Стороне была прекрасная, большая комната и очень добрая хозяйка-чухонка, решительно не понимавшая, что может быть предосудительного в многолюдных вечерних собраниях молодежи. Опасаться каких-либо доносов с ее стороны не было оснований. Напротив, „в случае чего“, она первая постаралась бы предупредить и выручить из беды своего постояльца. Об этих доблестях моей хозяйки знали все мои знакомые революционеры, между которыми были люди, занимавшиеся пропагандой в среде рабочих. Разумеется, по добром революционному обычаю, люди эти, до поры до времени, держали свои занятия втайне от меня, непосвященного. Но так как у них не было причин не доверять мне, то они и открылись тотчас, как только им представилась надобность,—если не лично во мне, то в моей комнате. На вопрос, может ли сбрататься у меня рабочая сходка, я отвечал полнейшим согласием и, несмотря на заимствованное от Митрофанова предубеждение против городских рабочих, с нетерпением ждал назначенного для сходки времени.

Дело было под какой-то большой праздник. Около 8 часов вечера ко мне пришло сначала человек 5—6 интеллигентных „революционеров“ — некоторых из них я видел тогда в первый раз,—а затем стали собираться рабочие. Собрание было открыто, как это водилось и вероятно до сих пор водится в России, без всяких формальностей. Частные беседы, перейдя к предмету сходки, мало-помалу перешли в общий разговор, и каждый, желавший что-нибудь сказать, вставлял свое замечание, нimalo не

справляясь о том, кому в данную минуту „принадлежит слово“. „Слово“ принадлежало всем вообще и никому в частности. Благодаря этому, прения много теряли в смысле порядка, но с другой стороны не мало выигрывали в смысле задушевности. Состоявшаяся у меня сходка имела важное значение. Как раз в то время вырабатывалась программа „бунтарей“-народников. Большинство революционеров из „интеллигенции“ думало, что главные силы русской социалистической партии должны быть направлены на „агитацию на почве существующих народных требований“, а за „пропаганду“ стояли только так называвшиеся „лавристы“, люди мало деятельные и потому мало влиятельные в революционной среде. В качестве бунтарей, бывшие у меня на сходке „интеллигенты“ старались склонить рабочих на путь „агитации“. Рабочие вообще плохо схватывали отличительные признаки различных революционных программ; „интеллигенции“ нужно было положить много труда, прежде чем тот или другой из них постигал, наконец, спорные программные вопросы, подобно Митрофанову, до тонкости. Но это я заметил уже впоследствии. Теперь же видел только, что на доводы бунтарей рабочие поддаются довольно туго. Нужно заметить, что у меня собрались лучшие, наиболее надежные и влиятельные люди из петербургских рабочих-революционеров. Многие из них уже подвергались преследованию по делу о революционной пропаганде 73—74 годов (из которого вырос потом знаменитый процесс 193) и, сидя в тюрьме, много учились и читали. По выходе на волю они опять горячо принялись за революционную деятельность, но смотрели на революционные рабочие кружки прежде всего как на кружки самообразования. Когда бунтари, излагая перед ними свои взгляды, выразили ту мысль, что „пропаганда“ не имеет никакого революционного значения, рабочие горячо запротестовали.

— Как не стыдно вам говорить это,—с жаром воскликнул некто В., работавший, если не ошибаюсь, на Васильевостровском патронном заводе и только что оставивший Дом Предварительного Заключение, где он сидел по делу „чайковцев“,—каждого из вас, интеллигентов, в пяти школах учили, в семи водах мыли, а ведь иной рабочий не знает, как отворяется дверь школы! Вам не нужно больше учиться; вы и так много знаете, а рабочим без этого нельзя!

— Не страшно пропасть за дело, когда понимаешь его,—говорил молодой, стройный рабочий В. Я,—а когда пропадаешь неизвестно за что, это уже плохо. Мало хорошего добьетесь вы от такого рабочего, который ничего не знает!

— Каждый рабочий—революционер по самому положению своему,—возражали бунтари,—разве он не видит, не понимает, что хозяин наживается на его счет?

— Понимает, да плохо, видит, да не так, как следует,—стояли на своем рабочие,—другому кажется, что иначе и быть не может, что так уж богу угодно, чтобы терпел рабочий. А вы покажите ему, что может быть иначе. Тогда он станет настоящим революционером.

Спор затянулся надолго. В конце концов обе стороны пошли на уступки. Решено было не пренебрегать пропагандой, но в то же время не упускать удобных случаев для агитации. Я уверен, впрочем, что рабочим было очень неясно тогда, какой именно „агитации“ добиваются от них бунтари. Да и у самих бунтарей с этим словом связывались довольно неопределенные представления.

Как бы там ни было, споры прекратились; сходка могла считаться оконченной. Бунтари ушли, ушли также некоторые из рабочих, но большинство продолжало сидеть, деятельно занимаясь чаепитием. Кто-то сбегал за пивом, произошла легкая выпивка, и разговор принял шуточный характер. В. рассказывал разные смешные случаи из своей тюремной жизни, а В. Я—, тот самый В. Я—, который говорил, что человек может с самоотвержением относиться только к понятному для него делу,—спел даже песню, сложенную, по его словам, колпинскими рабочими после каракозовского покушения. У меня осталось в памяти только начало этой песни.

Каракозову спасибо,

Веселая компания засиделась у меня далеко за полночь, и я расстался со своими гостями, как со старыми друзьями.

Впечатление, произведенное ими на меня, было очень сильно. Я совершенно забыл мрачные отзывы Митрофанова о петербургских рабочих. Я видел и помнил только то, что все эти люди, самым несомненным образом принадлежащие к „народу“, были сравнительно очень развитыми людьми, с которыми я мог говорить так же просто и, следовательно, так же искренно, как со своими знакомыми студентами. Мало того, на тех из них, которые уже отсидели известное время в тюрьме, я смотрел снизу вверх; „Я еще ничем не доказал своей преданности делу, а они успели уже постоять за него“, говорил я себе и смотрел на них почти с благоговением, как смотрит, вероятно, всякий молодой, не бывший в переделках революционер, на опытного, пострадавшего за дело товарища. Такое же впечатление вынес я из знакомства с нелегальным Митрофановым; но Митрофанова я считал исключением; теперь

я узнал, что подобных ему исключений много. Дело сближения с народом, прежде пугавшее меня своими трудностями, показалось мне теперь простым и легким. Не откладывая его в долгий ящик, я решил немедленно же и как можно ближе сойтись с моими новыми знакомыми. Поддержать раз завязавшиеся сношения с ними было тем легче, что некоторые из них дали мне свои адреса и звали к себе в гости.

Прежде всего я пошел к некоему Г—у, живущему, как оказалось, по соседству со мною. Г. был оригинальный человек, едва ли имевший в своем характере хоть одну из тех черт, которые „интеллигенция“ так любит приписывать „народу“. В нем не было и следа крестьянской непосредственности, крестьянской склонности жить и думать так, как жили и думали предки. При самых обыкновенных способностях он отличался редкой жаждой знания и поистине удивительной энергией в деле самообразования. Работая на заводе по 10—11 часов в сутки и возвращаясь домой только вечером, он ежедневно просиживал за книгами до часу ночи. Читал он медленно и, как я заметил, не легко усваивал прочитанное, но то, что усваивал, знал очень основательно. Маленький, слабогрудый и бледный, безбородый, с небольшими тонкими усиками, он носил длинные волосы и синие очки. В зимние холода он, поверх короткого драпового пальто, накидывал широкий плед и тогда уже окончательно выглядел студентом. Он и жил по-студенчески, занимая крошечную комнатку, единственный стол, который был завален книгами. Когда я короче познакомился с ним, я был поражен разнообразием и множеством осаждавших его теоретических вопросов. Чем только не интересовался этот человек, в детстве едва научившийся грамоте! Политическая экономия и химия, социальный вопрос и теория Дарвина одинаково привлекали к себе его внимание, возбуждали в нем одинаковый интерес, и, казалось, нужны были десятки лет, чтобы, при его положении, хоть немного утолить его умственный голод. Меня и обрадовала и вместе как бы опечалила эта черта его характера. Почему обрадовала—это понятно без пояснений; опечалила же потому, что я был сильно проникнут тогда бунтарскими взглядами, а у бунтарей излишнее пристрастие к книге считалось недостатком, признаком холодного, нерволюционного темперамента. Впрочем, по темпераменту Г., действительно, не был революционером. Он, наверное, всегда лучше чувствовал бы себя в библиотеке, чем на шумном политическом собрании. Но от товарищей он не отставал, а положиться на него можно было, как на каменную гору.

В сопровождении Г—а я посетил почти всех остальных рабочих, бывших на вышеописанной сходке в моей комнате, а затем уже приобрел между ними много новых знакомых. Видя, как заинтересовало меня „рабочее дело“, бунтари приняли меня в свой кружок, так что „занятия с рабочими“ стали с тех пор моей революционной обязанностью.

II.

Само собой разумеется, что между рабочими, как и повсюду, я встречал людей, очень различавшихся между собою по характеру, по способностям и даже по образованию. Одни, подобно Г—у, читали очень много, другие так себе, не много и не мало, а третьи предпочитали книжке „умные“ разговоры за стаканом чаю или за бутылкой пива. Но в общем вся эта среда отличалась значительной умственной развитостью и высоким уровнем своих житейских потребностей. Я с удивлением увидел, что эти рабочие живут несколько не хуже, а многие из них даже гораздо лучше, чем студенты. В среднем каждый из них зарабатывал от 1 р. 25 к. до 2 рублей в день. Разумеется, и на этот, сравнительно хороший, заработок, не легко было существовать семейным людям. Но холостые,—а они составляли между знакомыми мне рабочими большинство—могли расходовать вдвое больше небогатого студента. Были среди них и настоящие богачи, вроде механика С., ежедневный заработок которого доходил до трех рублей. С. жил на Васильевском Острове вместе с В. (который на сходке у меня так горячо отстаивал пропаганду в рабочих кружках). Эти два друга занимали прекрасно меблированную комнату, покупали книги и любили иногда побаловать себя бутылкой хорошего вина. Одевались они, в особенности С., настоящими франтами. Впрочем, все рабочие этого слоя одевались несравненно лучше, а главное, опрятнее, чище нашего брата студента. Каждый из них имел для больших okazji хорошую черную пару, и, когда облакался в нее, то выглядел „баринком“ гораздо больше любого студента. Революционеры из „интеллигенции“ часто и горько упрекали рабочих за „буржуазную“ склонность к франтовству, но не могли ни искоренить, ни даже хотя бы отчасти ослабить эту будто бы вредную склонность. Привычка и здесь оказывалась второй натурой. В действительности, рабочие заботились о своей наружности не больше, чем „интеллигенты“ о своей, но только заботливость их выражалась иначе. Интеллигент любил принарядиться по „демократически“ в красную рубаху или в засаленную блузу, а рабочий, которому засаленная блуза надоела и намозолила

глаза в мастерской, любил, придя домой, одеться в чистое как нам казалось, в буржуазное платье. Своим, часто увеличенно небрежным костюмом интеллигент протестовал против светской хлыщеватости; рабочий же, заботясь о чистоте и нарядности своей одежды, протестовал против тех общественных условий, благодаря которым он слишком часто видит себя *вынужденным* одеваться в грязные лохмотья. Теперь, вероятно, всякий согласится, что этот второй протест много серьезнее первого. Но в то время дело представлялось нам иначе: пропитанные духом аскетического социализма, мы готовы были проповедывать рабочим то самое „отсутствие потребностей“, в котором Лассаль видел одно из главных препятствий для успеха рабочего движения.

Чем больше знакомился я с петербургскими рабочими, тем больше поражался их культурностью. Бойкие и речистые, умеющие постоять за себя и критически отнестись к окружающему, они были *горожанами* в лучшем смысле этого слова. Многие из нас держались тогда того мнения, что „спропагандированные“ городские рабочие должны идти в деревню, чтобы действовать там в духе той или иной революционной программы. Мнение это разделялось и некоторыми рабочими. Я уже сказал, как исключительно стоял Митрофанов за деятельность в деревне. Такой взгляд был непосредственным и неизбежным плодом нарождавшегося тогда народничества, с его презрением к городской цивилизации, с его идеализацией, крестьянского быта. Господствовавшие в среде революционной интеллигенции народнические идеи естественно налагали свою печать также и на *взгляды* рабочих. Но *привычек* их они переделать не могли, и потому настоящие городские рабочие, т. е. рабочие, совершенно свыкшиеся с условиями городской жизни, в большинстве случаев оказывались непригодными для деревни. Сойтись с крестьянами им было еще труднее, чем революционерам, „интеллигентам“. Горожанин, если только он не „кающийся дворянин“ и не совсем проникся влиянием дворян этого разряда, всегда смотрит сверху вниз на деревенского человека. Именно так смотрели на этого человека петербургские рабочие. Они называли его *серым* и в душе всегда несколько презирали его, хотя совершенно искренно сочувствовали его бедствиям. В этом отношении Митрофанов, с его нелюбовью к городу, представлял собою несомненное исключение из общего правила. Но Митрофанов, по своей *нелегальности*, долго жил среди „интеллигенции“ и совершенно проникся всеми ее чувствами.

Нужно сказать и то, что между петербургскими рабочими деревенский человек нередко являет собою довольно

жалкую фигуру. На Василеостровский патронный завод поступил, в качестве смазчика, крестьянин Смоленской губернии С. На этом заводе у рабочих было свое потребительное товарищество и своя столовая, служившая в то же время читальней, так как она была снабжена почти всеми столичными газетами. Дело было в разгаре герцеговинского восстания. Новый смазчик отправился есть в общую столовую, где за обедом газеты читались по обыкновению вслух. В тот день, не знаю уж в какой газете, шла речь об одном из „славных защитников Герцеговины“. Деревенский человек вмешался в поднявшиеся по этому поводу разговоры и высказал неожиданное предположение о том, что „он, должно быть, любовник ейный“.

— Кто? Чей?—спросили удивленные собеседники.

— Да герцогинин-то защитник; с чего ж бы стал он защищать ее, кабы промеж них ничего не было?

Присутствующие разразились громким хохотом. „Так по твоему Герцеговина не страна, а баба,—восклицали они,—ничего-то ты не понимаешь, прямая деревенщина!“—С тех пор за ним надолго установилось прозвище—серый. Это прозвище очень удивило меня, когда я познакомился с ним глубокой осенью 1876 года, и когда он был уже убежденным революционером и самым деятельным пропагандистом.

— Почему вы так называете его?—спросил я рабочих.

— Да как же, ведь он какую штуку отмочил у нас в столовой; ведь он думал...—последовал рассказ о герцогинином любовнике.

— Ну что ж, ну ошибся,—добродушно оправдывался смазчик,—ведь я что же понимал тогда?

Подобные происшествия подавали повод лишь к насмешке. Но между „серыми людьми“ и петербургскими рабочими происходили иногда недоразумения гораздо более печального свойства. По делу о пропаганде в 37 губерниях попал в тюрьму рабочий Б—н, родом из Новгородской или Петербургской губернии. Выпущенный после почти двухлетнего заключения, Б—н отправился на родину, если не ошибаюсь, для перемены паспорта. Тотчас по его приходе, он был засажен в „холодную“, а затем „старички“ решили „постегать малого“ за недоимки. Ему сообщили об этом решении, как о чем-то весьма обыкновенном и совершенно неизбежном.

— Да вы с ума сошли,—возопил Б—н,—да попробуйте только тронуть меня, я и деревню-то всю сожгу, да и вы-то голов не снесите: сам пропаду, да уж и вы пожалуете, что связались со мною!

„Старички“ струсили. Они решили, что совсем ошалел их „острожник“ и что лучше, в самом деле, с ним „не

путаться“. Так и ушел Б—н из родной деревни, не вкусив благодетельных лозанов. Но он уже никогда не мог забыть этого происшествия.

— Нет,—говорил он нам,—я попрежнему готов заниматься пропагандой между рабочими, но в деревню никогда и ни за что не пойду. Не за чем. Крестьяне—бараны, они никогда не поймут революционеров.

Я не раз замечал, что на телесное наказание рабочие смотрят, как на крайнюю степень унижения человеческого достоинства. Иногда они с негодованием показывали мне газетные сообщения о порках крестьян, и я всегда затруднялся решить, что больше возмущает их: свирепость истязующих или безответная покорность истязуемых.

Когда, сложившееся в 1876 году, общество „Земля и Воля“ стало заводить свои революционные поселения „в народе“, нам удалось склонить к переезду в Саратовскую губернию некоторых петербургских рабочих. Это были испытанные люди, добрая воля которых не могла подлежать сомнению. Но попытки их устроиться в деревне не привели ни к чему. Побродив по деревням, с целью рассмотреть подходящее место для своего поселения (причем некоторые из них были приняты крестьянами за немцев), они махнули рукой на это дело и кончили тем, что вернулись в Саратов, где завели сношения с местными рабочими. Как ни удивляла нас эта отчужденность от „народа“ его городских детей, но факт был налицо, и мы должны были оставить мысль о привлечении рабочих к собственно крестьянскому делу.

Прошу читателя иметь в виду, что я говорю здесь о так называемых заводских рабочих, составляющих значительную часть петербургского рабочего населения и сильно отличающихся от фабричных как по своему сравнительно сноному экономическому положению, так и по своим привычкам. Фабричный работает больше (12—14 часов в день) и получает меньше заводского (18—25 р. в месяц). Он носит ситцевую рубаху и долгополую поддевку, над которыми подсмеивается заводский рабочий. Он не имеет возможности нанимать отдельную квартиру или комнату, а живет в общем артельном помещении. У него более прочные связи с деревней, чем у заводского рабочего. Он знает и читает гораздо меньше, чем заводский, и вообще он ближе к крестьянину. Заводский рабочий представляет собою что-то среднее между „интеллигентом“ и фабричным, а фактически—что-то среднее между крестьянином и заводским рабочим. К кому он ближе по своим понятиям, к крестьянину или к заводскому,—это зависит от того, как долго прожил он в городе. Только что пришедший из деревни

фабричный, разумеется, остается в течение некоторого времени настоящим крестьянином. Он жалуется не на хозяйскую прижимку, а на тяжелые подати да на крестьянское малоземелье. Пребывание в городе кажется ему временной и притом очень неприятной необходимостью. Но мало-по-малу городская жизнь подчиняет его своему влиянию: незаметно для себя он приобретает привычки и взгляды горожанина. Проработав в городе несколько лет, он уже плохо чувствует себя в деревне и неохотно возвращается в нее, в особенности, если ему удалось столкнуться с „умственными“ людьми, и он заинтересовался книжкой. Я знал таких фабричных, которые, будучи принуждены вернуться на время домой, ехали туда, как в ссылку, а возвращались назад, подобно заводскому рабочему Б—ну, решительными недругами „деревенщины“. Причина была всегда одна и та же: деревенские нравы и порядки становились невыносимы для человека, личность которого начинала хоть немного развиваться. И чем даровитее был рабочий, чем больше думал и учился он в городе, тем скорее и решительнее разрывал он с деревней. Фабричный, несколько лет принимавший участие в революционном движении, не мог и нескольких месяцев выжить у себя на родине. Иногда отношения таких рабочих к их старикам-родителям принимали положительно трагический характер. „Отцы“ горько плакались на непочтительность „детей“, а дети с тяжелым сердцем убеждались, что стали в семье совершенно чужими, и их неудержимо тянуло в город, в тесные, дружеские кружки товарищей-революционеров.

Едва ли нужно объяснять, где причина лучшего экономического положения заводских рабочих. Она заключается в свойствах их труда. Можно легко и скоро научиться хорошо работать на фабрике, на прядильном или ткацком станке. Для этого достаточно нескольких недель. Но для того, чтобы сделаться столяром, токарем или слесарем, нужно, по крайней мере, около года. Рабочий, знающий одно из этих ремесел, считается уже „мастеровым человеком“, и именно такие мастеровые нужны для заводов ¹⁾. Несомненно также, что не остаются без влияния в этом случае и наши знаменитые „устои“. Нужда и необходимость платить подати, часто во много раз превышающие доходность крестьянских наделов, ежегодно выгоняют из деревень массу „общинников“, которые со всех сторон стремятся на фабрики, своим соперничеством страшно понижая заработную плату. На

¹⁾ Т. е. для механических заводов. О кирпичных, сахарных и т. п. я не говорю. На них работают настоящие крестьяне.

заводах этот наплыв менее ощутителен, так как туда редко удается попасть человеку без специальной подготовки. Притом же многие из заводских рабочих—городские мещане, т. е. люди, имеющие редко достоящее на долю русского работника счастье быть пролетариями и потому не обязанные прямыми платежами по отношению к государству. Разумеется, и одного голода более чем достаточно для того, чтобы поставить продавца рабочей силы в условия, очень невыгодные для ее продажи. Но у „крепких земле“ фабричных к голоду присоединяется еще и *податной гнет*. Государство лишает их всякой возможности даже с голодом бороться иначе, как со связанными руками.

В качестве коренных горожан, многие заводские рабочие с детства имеют гораздо больше средств к образованию, чем фабричные. Между знакомыми мне заводскими рабочими я не встречал людей, совершенно не бывших в школе. Одни из них учились в обыкновенных городских первоначальных школах, другие в школах Технического и Человеколюбивого Обществ. Я совсем не знаком со школами Человеколюбивого Общества (слышал только от рабочих, что одна из них имеет несколько классов), но школы Технического Общества известны мне очень хорошо. Бедно обставленные, они все-таки недурно делают свое дело, обучая заводскую молодежь чтению, письму и арифметике. Для взрослых рабочих в этих школах устраиваются, или, по крайней мере, устраивались субботние (вечерние) и воскресные (утренние) чтения по космографии и по другим естественным наукам. На чтения эти всегда являлась многочисленная публика, и нужно было видеть, с каким вниманием слушала она учителя! Я сам не раз был свидетелем того, как после урока пожилые рабочие подходили к учителю и горячо благодарили за его труд: „Очень уж интересно,—говорили они,—большое вам спасибо ото всех нас“. На некоторых заводах рабочие-пропагандисты сделали такое замечание: если человек не ходит на чтения, то на него надежды мало; и наоборот: чем внимательнее следит он за ними, тем с большою уверенностью можно сказать, что он станет со временем надежным революционером. Этой приметой они неизменно руководствовались в деле привлечения к своим кружкам новых членов.

Некоторые из заинтересовавшихся книжкой рабочих не прочь были иногда и сами взяться за перо. На Василеостровском патронном заводе в течение некоторого времени рабочими велся рукописный журнал,—род резкой сатирической летописи заводской жизни. Доставалось в нем больше всего заводскому начальству, но иногда бич рабочей сатиры хватал и выше. Так, например, помню

журнал доводил до сведения своих читателей, что в правительственных сферах обсуждается проект закона, в силу которого будут получать особые награды предприниматели, в течение года изувечившие на своих фабриках и заводах наибольшее число рабочих („награды будут соразмерны количеству оторванных пальцев, рук и носов“, говорилось в этом сообщении). Эта горькая насмешка метко характеризовала положение дел в стране, законодательство которой, заботливо охраняя интересы нанимателей, самым беззастенчивым образом пренебрегает интересами нанимаемых.

Рабочая молодежь, — подростки и дети, насколько я заметил, отличаются гораздо большею самостоятельностью, чем молодежь высших классов. Жизнь в более раннем возрасте и с большею суровостью толкает их на борьбу за существование, чем и налагает особую печать находчивости и закаленности на тех из них, которым удастся спастись от преждевременной гибели. Я знал тринадцатилетнего мальчугана, круглого сироту, который, работая в Галерной Гавани на заводе Макферсона, жил одиношеник, повидимому, не чувствуя ни малейшей нужды в какой-либо посторонней поддержке. Он сам рассчитывался с конторой и сам, без чужих указаний, умел соблюдать равновесие в своем маленьком бюджете. Не знаю, был ли у него опекун: это как-то слишком нежно для рабочего; но если и был, то, наверное, не много имел хлопот с опекаемым.

Столкновения с мастерами и хозяевами развивают в рабочей молодежи замечательное единодушие. Весною 1878 года, во время стачки на Новой Бумагопрядильне, было арестовано и посажено в участок несколько малолетних фабричных. Товарищи их, такие же малолетние и и такие же „бунтовщики“, как и арестованные, немедленно отправились толпою в участок, требуя их освобождения. Вышла своеобразная детская демонстрация. Взрослые рабочие не принимали в ней никакого участия. Они только наблюдали ее издали: „Вашь, как наши ребяташки-то действуют, одобрительно говорили они, ничего, пуцай учатся“. Впрочем, в данном случае учиться ребяташкам было нечему: они и без того принимали в стачке самое деятельное и самое полезное участие, прекрасно понимая, в чем дело. Когда на обширном дворе Бумагопрядильни происходили большие собрания стачечников, малолетние играли обыкновенно роль казачьих разъездов. Они каким-то чутьем узнавали о приближении неприятеля и немедленно доводили о нем до сведения старших. „Пристав едет!“ со всех сторон кричали звонкие детские голоса. и извещенное во-время собрание расходилось. Когда

пристав появлялся на место действия, то хватать было уже некого. Взрослая полиция страшно злобилась на эту малолетнюю полицию рабочих. Многие из этих маленьких стачечников были подвергнуты тогда „исправительному наказанию при полиции“. Не думаю, однако, чтобы наказание „исправило“ их в желательном для начальства смысле.

Много интересного мог бы подметить в рабочей среде такой тонкий наблюдатель, как Г. И. Успенский. Но наши народники-беллетристы обыкновенно не обращали и не обращают на нее никакого внимания. Для них „народ“ кончается там, где исчезает крестьянская непосредственность и где завещанная предками философия Ивана Ермолаевича разлагается под влиянием пробудившейся мысли работника. Правда, в семидесятых годах этим грехом грешны были не одни беллетристы-народники, вообще, не одна „легальная“ литература. „Незаконные“ писатели с своей стороны не мало содействовали ложной идеализации крестьянства и торжеству самобытных теорий „русского социализма“, никогда не умевшего взглянуть на рабочий вопрос с правильной точки зрения. Проникнутые народническими предрассудками, все мы видели тогда в торжестве капитализма и в развитии пролетариата величайшее зло для России. Благодаря этому, наше отношение к рабочим всегда было двойственным и совершенно непоследовательным. С одной стороны, в своих программах, мы не отводили пролетариату никакой самостоятельной политической роли и возлагали свои упования исключительно на крестьянские бунты; а с другой — мы все-таки считали нужным „заниматься с рабочими“, и не могли отказаться от этого дела уже по одному тому, что оно, при несравненно меньшей затрате сил, оказывалось несравненно более плодотворным, чем наши излюбленные „поселения в народе“. Но, идя к рабочим не то, чтобы против воли, а так сказать, *против теории*, мы, разумеется, не могли хорошо выяснить им то, что Лассаль называл *идеями рабочего сословия*. Мы проповедывали им не социализм и даже не либерализм (это было бы еще полбеды), а именно тот переделанный на русский лад бакунизм, который учил рабочих презирать „буржуазные“ политические права и „буржуазную“ политическую свободу и ставил перед ними, в виде соблазнительного идеала, допотопные крестьянские учреждения. Слушая нас, рабочий мог проникнуться ненавистью к правительству и „бунтарским“ духом, мог научиться сочувствовать „серому“ мужику и желать ему всего лучшего, но ни в каком случае не мог он понять, в чем заключается его собственная задача, социально-политическая задача пролетария. До этого ему приходилось додумываться соб-

ственным умом, и читатель увидит ниже, что когда рабочие подумались до этого, то ужаснули всех правоверных „интеллигентов“.

Здесь надо оговориться. Сказанное мною об отношении интеллигенции к рабочему вопросу касается только бунтарей-„землевольтцев“ и лиц, стоявших на их, т.е. на народнической, точке зрения. Рядом с ними действовали еще „лавристы“. Люди этого направления были тогда в меньшинстве и быстро сходили со сцены. Но надо отдать им справедливость: *их* пропаганда, вероятно, была разумнее нашей. Правда, и они, подобно нам, отрицали „буржуазную“ политическую свободу, и они, по крайней мере, многие из них, готовы были трепетать за участь „устоев“. В их взглядах было тоже много непоследовательности, но *их* непоследовательность имела одну счастливую особенность: отрицая „политику“, они с величайшим сочувствием относились к немецкой социальной демократии. Нельзя иметь высокого мнения о логичности человека, отрицающего „политику“ и в то же время сочувствующего немецкой социальной демократии. Но своими рассказами об этой последней, такой человек может заронить семя здоровых понятий в другие головы, которые, при благоприятных обстоятельствах, сумеют вполне усвоить социал-демократическую программу или хотя приблизиться к ней в большей или меньшей степени. В таком случае, за ним останется все-таки не малая заслуга. Именно такую заслугу и нужно признать за лавристами. Вспоминая теперь лекции, читанные в рабочих кружках „бунтарями“, я думаю, что существенную пользу рабочие могли выносить только из лекций политической экономии покойного И. Ф. Фесенко. Этот, к сожалению, слишком рано умерший человек, очень недурно знал выбранный им предмет и умел излагать его общедоступно и увлекательно. Но его лекции продолжались всего несколько месяцев. С его отъездом из Петербурга политическая экономия была у нас совсем заброшена; на первый план выступили „рассказы из русской истории“, сводившиеся, главным образом, к рассказам о бунтах Разина, Булавина и Пугачева, да отчасти к истории крестьянства (преимущественно по известной книге Беляева: „Крестьяне на Руси“). Для уразумения рабочего вопроса эти „рассказы“ ничего не давали. Иногда мы говорили своим слушателям и о Международном Обществе Рабочих, но в качестве „бунтарей“, разумеется, превозносили деятельность Бакунина, а „централистов“, т.е. сторонников Маркса и Энгельса, изображали довольно-таки злостными реакционерами. Такое освещение истории Международного Общества не могло содействовать политическому развитию наших слушателей. У лавристов было

хорошо хоть то, что они изображали не в превратном виде западно-европейское рабочее движение, и под влиянием *их* рассказов русский рабочий мог лучше выяснить себе свою собственную задачу. Если в программе образованного зимою 78—79 года Северно-Русского Рабочего Союза сильно слышалась социал-демократическая нота, то это, кажется, в значительной степени нужно приписать влиянию лавристов.

Но вообще в роли лектора тогдашний интеллигент-революционер был не блестящ по той простой причине, что знал он мало, а то, что знал, не всегда понимал, как следует. Он полезен был рабочим больше в качестве удалого доброго молодца, способного и книжку запрещенную достать, и паспорт сделать, и устроить подходящую квартиру для тайных собраний, словом, научить всем тонкостям „конспиративного“ дела. Он шевелил, будил и увлекал вперед рабочих своею подвижностью, своим самоотвержением и безграничной склонностью ко всяческому отрицанию. Хотя многие, в особенности более развитые рабочие, иногда скептически относились к интеллигенту, но обойтись без этого незаменимого фактора „конспирации“ они не могли. Под влиянием Халтурина и его ближайших товарищей рабочее движение Петербурга в течение некоторого времени стало совершенно самостоятельным делом самих рабочих. Но и Халтурина постоянно приходилось обращаться к интеллигенции за помощью, то в том, то в другом практическом деле.

Какие книги больше всего читались в рабочей среде? Во всяком случае, не те революционные брошюры-сказки о четырех братьях и о копейке, Мудрице Наумовне и проч., которые в особенности предназначались революционерами для народа. Все они так бедны содержанием, что удовлетворить хоть сколько-нибудь грамотного рабочего не могли. Они годились разве только для ничего не читавших новичков; да и по отношению к тем служили больше пробным камнем их настроения: если рабочий, прочитав такую книжку, не испугался, значит — из него будет толк, значит, верноподданнические чувства и страх иудейский сидят в нем не глубоко. Если струсил, значит — иди от него подальше или, по крайней мере, будь с ним осторожнее. Но раз вы убедились в революционном настроении рабочего, вы должны были или доставлять для его чтения более серьезный печатный материал, или в личной беседе отвечать на возникавшие в его голове вопросы. Только изданная в Женеве книга „Сытые и голодные“, анархическая и по духу и по литературному исполнению, да еще, пожалуй, „Хитрая Механика“ считались рабочими более основательным чтением. На все остальные револю-

ционные брошюры для народа они смотрели, как на нечто слишком уже элементарное. „Это для серых“, говорили о них заводские рабочие. Вообще я заметил, что, читая книжку, изданную специально „для народа“, способный рабочий чувствует себя как бы несколько униженным, поставленным в положение ребенка, читающего детскую сказку. Ему хочется поскорее перейти к сочинениям, предназначенным для всех вообще толковых читателей, а не только для „серого“ народа. Для многих рабочих чтение серьезных и даже ученых книг было своего рода вопросом чести. Я помню некоего И. Е., здорового молотобойца из Архангельской губернии, который с усердием, достойным более подходящего для него чтения, сидел по вечерам над „Биологией“ Спенсера. „Что это вы думаете, что ужмы, рабочие, совсем дураки“, — сердито отвечал он мне, когда я советовал ему взять что-нибудь полегче. Такие рабочие охотно читали все, что печаталось революционерами для интеллигенции: „Государственность и Анархию“ Бакунина, „Вперед“, „Общину“, „Землю и Волю“, переизданную в Петербурге брошюру г. Драгоманова: „До чего довоевались?“ и т. п. Но тут являлась новая беда. В революционных изданиях „для интеллигенции“ много и часто говорилось о таких вещах, которые не могли иметь большого интереса для рабочего. Таковы были, например, специально „интеллигентные“ вопросы о „долге образованных классов народу“ и о вытекающих из этого долга нравственных обязательствах, об отношении революционеров к „обществу“ и споры о „программах“, т. е. иначе сказать, споры о том, как легче и удобнее воздействовать на народ и, между прочим, на того же рабочего. К таким программным спорам, как уже сказано, рабочие относились довольно равнодушно, хотя для них было далеко не все равно, в какую сторону направится их собственная революционная деятельность. „Нет, не для нас этот журнал, — наш журнал должен вестись совсем иначе“, — часто говорил мне Халтурин по поводу „Земли и Воли“. И он был, разумеется, совершенно прав: „Земля и Воля“ — как и „Община“, как и „Вперед!“ — не могла быть рабочей газетой ни по содержанию, ни по направлению.

Спрашивая рабочих, чего именно требуют они от революционной литературы, я получил самые разнообразные ответы. В большинстве случаев, каждому из них хотелось, чтобы она разрешила вопросы, почему-нибудь занимавшие его в данное время. А вопросов этих через голову мыслящих рабочих проходило многое множество, и у каждого рабочего, смотря по его наклонностям и характеру ума, были свои излюбленные вопросы. Один больше всего интересовался вопросом о боге и утверждал,

что революционная литература должна направить главные свои усилия на разрушение религиозных верований народа. Других интересовали преимущественно исторические, политические или естественно-научные вопросы. В числе моих приятелей-фабричных был даже такой, которого особенно занимал женский вопрос. Он находил, что рабочие не уважают женщины и обращаются с ней, как с низшим существом. По его словам, многие женатые рабочие даже удаляли своих жен, когда гости их заводили революционные разговоры; не нужно, мол, путать баб в это дело. Поэтому у женщин не было никаких общественных интересов, что, в свою очередь, вредно отзывалось на мужчинах, которых они, по своей неразвитости, всегда старались отвлечь от опасного революционного дела. Мой приятель никогда не упускал случая „спропагандировать“ женщину и всеми силами старался заводить особые революционные кружки между работницами. Своим товарищам он очень энергично, т. е., не отступая перед употреблением крепкого слова, внушал достойные развитых людей взгляды на женщин. Занятый своей идеей, он, естественно, требовал помощи от революционной литературы и сожалел, что она слишком мало занимается женским вопросом.

Замечу мимоходом, что этот горячий сторонник женского освобождения принадлежал к числу тех фабричных, для которых жизнь в деревне стала совершенно невыносимой. Когда я познакомился с ним, он был еще очень молодым парнем, но считался уже „старым“ революционером, так как был „спропагандирован“ еще чайковцами. В 73 или в 74 году совсем мальчиком попал он в тюрьму, где прекрасно держал себя и пристрастился к чтению. По выходе на волю, он не раз ездил в Тверскую губернию к своим родным, но ладу с ними у него уже не было. Они называли его студентом и считали пропащим человеком. Он поражал их и привычками, и взглядами, и непочтительным отношением к начальству. Впрочем, они утешали себя пословицей: женится — переменится, и едва стукнуло ему 18 лет, „пригладели“ ему невесту. А он как раз в это время увлекся женским вопросом и не допускал даже мысли о том, что порядочный человек может жениться на незнакомой женщине. Чтобы избежать бесполезных столкновений, он решил совсем не заглядывать на родину. Родина с своей стороны решила, что парень в конце избаловался; не знаю уж, согласились ли бы с ней в данном случае наши народники.

Между работницами Петербурга было несколько революционерок, случались у них даже стачки (на табачных фабриках), но вообще в движении женщины стояли действительно на самом заднем плане. Некоторые заводские

рабочие-революционеры не женились прямо потому, что в окружавшей их среде не было подходящих для них женщин. „Наши бабы совсем дуры, а интеллигентки за нашего брата не пойдут, им подавай студентов“, — не без горечи говаривали такие рабочие. Думаю, что и в этом случае в них сказывалось не городское „баловство“, а серьезное нравственное развитие.

Я вовсе не намерен идеализировать условия современной городской жизни: довольно уж мы упражнялись в ложной идеализации. Я видел и знаю отрицательные стороны этих условий. Попадая из деревни в город, рабочий, иногда, действительно, начинает „баловаться“. В деревне он жил по завету отцов, без рассуждений подчиняясь их исстари установившимся обычаям. В городе обычаи эти сразу теряют смысл. Чтобы человек не лишился всякого нравственного мерил, они необходимо должны заместиться новыми обычаями, новыми взглядами на вещи. Такая замена постепенно и происходит в действительности, так как уже одна неизбежная и повседневная борьба с хозяином налагает на рабочих взаимные нравственные обязательства. Но „пока что“ новичок рабочий все-таки переживает нравственный перелом, выражающийся иногда в довольно некрасивом поведении. Здесь повторяется то, что переживает всякий общественный класс, всякое общество при переходе от узких патриархальных порядков к другим, более широким, но зато более сложным и более запутанным. Рассудочность вступает в свои права и, критикуя старую нравственность, позволяет себе подчас довольно некрасивые вещи. Рассудок, конечно, способен ошибаться и чаще, и больше, чем вековечный обычай. За это он и проклинается всеми охранителями. Но до тех пор, пока люди будут идти вперед, неизбежно останутся и периодическая ломка обычаев. И как ни „балуется“ иногда во время такой ломки рассудок, но его ошибок не поправишь охранением отживших порядков. Поправляет их обыкновенно дальнейший ход самой жизни. Чем больше развиваются новые порядки, тем яснее становятся для всех и каждого обусловленные ими новые нравственные требования, мало-по-малу приобретающие прочность обычая, который и сдерживает затем излишнее „баловство“ рассудка. Таким образом, отрицательные стороны развития устраняются его собственными положительными приобретениями, и роль мыслящего человека в этом неизбежном историческом движении определяется сама собою.

Я знал одного молодого фабричного, который был вполне честным малым, пока его не коснулась революционная пропаганда. Но как только ему сделались известными социалистические нападки на эксплуататоров, он

начал „баловаться“, считая позволительным обманывать и обкрадывать людей, принадлежащих к высшим классам. „Все равно, у нас же накрали“, — возражал он на упреки товарищей, которым откровенно показывал и предлагал братски разделить попавшуюся под руку добычу. Будь известен этот случай покойному Достоевскому, он, конечно, не преминул бы уколоть им глаза революционерам в „Братьях Карамазовых“, где вывел бы упомянутого парня рядом с Смердяковым, этой жертвой „интеллигентного“ свободомыслия, или в „Бесах“, где, как известно, „что ни шаг, то ужас“. Интересно, что сами товарищи, едва ли когда читавшие произведения Достоевского, стали звать вороватого малого Бесом. Но в подвигах Беса они не винили ни интеллигенции вообще, ни социалистической пропаганды в частности. Они своим влиянием старались, так сказать, доделать нравственную личность этого юноши и научить его бороться против высших классов не в качестве обманщика и вора, а в качестве революционного агитатора. Я скоро упустил Беса из виду и не знаю, решился ли в благоприятную сторону переживавшийся им тогда нравственный перелом. Но что благоприятный исход был вполне возможен, за это ручается, между прочим, то негодование, которое вызывали его подвиги во всех окружавших его рабочих-революционерах.

III.

В настоящее время в среде „интеллигенции“ много спорят о возможности революционной пропаганды между рабочими. Я думаю, что всякий, кто хоть немного сталкивался с русскими рабочими, знает, как внимательно и как сочувственно относятся они к этой пропаганде. Говорят, что пропаганда встречает теперь непреодолимые препятствия со стороны полиции. Но слишком часто говорят это люди, не давшие себе труда сделать хоть одну серьезную попытку в этом направлении. Иногда ссылаются, правда, и на „опыт“. Но опыт опыту рознь. Без умения невозможно никакое революционное дело, а умелых людей не остановит никакая полиция. Общество „Земля и Воля“ во все время своего существования вело деятельные сношения с рабочими через посредство некоторых из своих членов. И замечательно, что за все это время собственно рабочее дело привело у нас *только к одному*, да и то незначительному „провалу“: по доносу рабочего арестован был в 1878 г. наш товарищ И., занимавшийся пропагандой на одной из московских фабрик. Многочисленные аресты рабочих, имевшие место весной того же года в Петербурге, аресты, благодаря которым в руки полиции попались

покойный Хазов („Дедушка“) и некоторые другие наши товарищи, причинены были самой интеллигенцией. Именно, „нелегально“ живший тогда в Москве, Хазов попросил студентов Петровской академии спрятать кое-какие „конспиративные“ бумаги. Те зарыли полученный им пакет в академическом саду, но зарыли, как оказалось, не хорошо и не глубоко. Какая-то не кстати любопытная собака вырыла его из-под земли, а какой-то, к сожалению, слишком проникательный верноподданный, ознакомившись с его содержанием, представил его по начальству. Неожиданная находка оказалась настоящим кладом для полиции, которая тотчас арестовала Хазова и кое-кого из его московских друзей. Как часто бывает в подобных случаях, эти аресты дали поводы для новых; „провалы“ распространились на Петербург, где особенно пострадали многочисленные и хорошо сплоченные рабочие кружки Галерной Гавани; наши потери были тогда очень серьезны, но мы понимали, что должны винить самих себя, а не рабочих.

В сношениях с рабочими „землевольтцы“ всегда держались следующих приемов. Те члены организации, которым поручалось ведение „рабочего дела“ (их всегда было немного, самое большее 4—5 человек), обязаны были составить особые кружки из молодых революционеров. Кружки эти, собственно говоря, не принадлежали к обществу „Земля и Воля“, но, действуя под руководством его членов, они не могли работать иначе, как в духе его программы. Вот эти-то кружки и вступали в сношения с рабочими. Так как, благодаря пропаганде 1873—74 г.г., в петербургской рабочей среде было довольно много революционеров, то задача „землевольтцев“ и их молодых помощников свелась прежде всего к организации этих готовых сил. „Старые“, по большей части уже испытанные революционеры-рабочие, присоединив к себе некоторых надежных новичков, составили ядро петербургской рабочей организации, с которым и сносилась, главным образом, „интеллигенция“. На этих людей мы вполне могли положиться: нелепо было бы бояться, что они нас выдают. Тем не менее, помня, что кашу маслом не портят, и что в тайном революционном деле осторожность обязательна даже тогда, когда кажется совершенно излишней, „землевольтцы“ и этим испытанным рабочим не сообщали ни своих адресов, ни своих имен (т.-е. тех имен, под которыми они были прописаны в участке). Прибавлю, что так они поступали не с одними рабочими: адрес землевольтца и то, по большей части вымышленное, имя, под которым он проживал, в самой организации знали обыкновенно только очень немногие члены, занимавшиеся вместе с ним одной и той же отраслью революционного дела; осталь-

ные, занятые другими революционными специальностями, должны были довольствоваться встречами с ним на „конспиративной“ квартире, где происходили общие кружковые собрания. На обязанности центральной, отборной рабочей группы лежало руководство местными рабочими кружками, возникавшими в той или другой части Петербурга. Интеллигенция не вмешивалась в дела этих местных кружков, ограничиваясь доставлением им книг, помощью при заведении тайных квартир для собраний и т. п. Каждый местный кружок собственными силами должен был привлекать себе новых членов, которым сообщали, что существуют и другие подобные кружки в Петербурге, но где и какие именно, это было известно только членам центрального рабочего ядра, каждое воскресенье сходящимся на общее собрание. Революционеры-интеллигенты являлись с целью пропаганды и на собрания местных кружков. Но так как там они известны были под вымышленными именами, то если бы туда и забрался какой-нибудь шпион, он мог бы донести „пославшим его“ только о том, что какой-то Федорыч, или Антон, или „Дедушка“ в том-то месте и в таком-то часу потрясал основы, а где искать этого Федорыча, или Антона, или „Дедушку“, оставалось покрыто мраком неизвестности. Проследить же на улице кого-нибудь из этих потрясателей было не так-то легко, потому что они на сей конец прибегали к особым мерам, в виде проходных дворов, извозчика, внезапно взятого в таком месте, где другого извозчика не было, и где таким образом следовавший за потрясателем пеший шпион по необходимости должен был отстать от него и проч. и проч. При подобных предосторожностях мы могли благополучно заниматься своим делом даже в самые жестокие времена, когда не принадлежавшие к организациям революционеры (нигилисты, как называли мы их на своем жаргоне) за самомаleastшие пустяки десятками попадались в руки бдительных аргусов.

Уже к концу 1876 года, когда землевольтцы только еще приступали к устройству революционных „поселений в народе“, пропаганда между рабочими приняла довольно широкие размеры, как в Петербурге (в Галерной Гавани, на Васильевском Острове, на Петербургской и на Выборгской Сторонах, на Обводном канале, за Невской и Нарвской заставами), так и в его окрестностях (в Колпине, на Александровской мануфактуре, в Кронштадте и т. д.). Но я уже сказал, что бунтари не довольствовались пропагандой и во что бы то ни стало хотели агитировать. Наше настроение увлекло, наконец, и рабочих. В то время у всех была в памяти демонстрация, ознаменовавшая весною 1876 г. похороны убитого тюремю студента Чер-

нышева. Она произвела очень сильное впечатление на всю интеллигенцию, и все лето того года мы, что называется, бредили демонстрациями. Но в Чернышевской демонстрации рабочие не принимали участия, так как произошла она в будни, да и подготoвители ее как-то не вспомнили о рабочих. И вот рабочим захотелось сделать *свою* демонстрацию, и притом такую, которая своим резко-революционным характером совершенно затмила бы демонстрацию „интеллигенции“. Они уверяли нас, что если хорошо взяться за дело и выбрать для демонстрации праздничный день, то на нее соберется до 2000 рабочих. Мы сомневались в этом, но бунтарская жилка заговорила в каждом из нас, и мы сдались. Так произошла известная Казанская демонстрация 6 (18) декабря 1876 года.

Теперь о Казанской демонстрации совсем забыли. Даже сам г. Драгоманов, любивший когда-то упрекнуть ею революционеров, вспоминает о ней все реже и реже. Но в свое время она возбудила много толков и споров. Одни осуждали, другие превозносили ее, хотя очень часто и те, и другие имели о ней совершенно ошибочное понятие. Для „интеллигенции“ цель демонстрации так и осталась невыясненной, вероятно потому, что в ее подготoвлении „интеллигенция“ принимала участие только в лице немногих землевольцев, действовавших в рабочих кварталах Петербурга. Эти люди употребляли все зависевшие от них средства, чтобы привлечь на нее как можно больше рабочих, но об интеллигенции, насколько мне известно, они думали мало: придет, мол, и без зова, а не придет — беда не велика, пожалуй, даже лучше будет: выйдет чисто рабочая демонстрация. Тем не менее, утром 6-го декабря у Казанского собора собралось много учащейся молодежи. Произошло это, как мне кажется, главным образом, потому, что уже в течение всего ноября по Петербургу ходили слухи о какой-то демонстрации, имеющей произойти около Исаакия, и публика была уже подготoвлена. Кто задумал эту демонстрацию и какой характер собрались придать ей мы, землевольцы, хорошенько не знали, хотя, разумеется, явились бы к Исаакию, если бы там, действительно, что-нибудь произошло. Но этой демонстрации не суждено было состояться, она все как-то откладывалась от одного праздника до другого, так что нетерпеливые „нигилисты“ начали, наконец, сердиться. О демонстрации у Исаакия стали говорить не иначе, как с иронией. Не желая, чтобы публика смешала нас с этими медлителями, мы нарочно выбрали другое место — Казанский собор — для *нашей* демонстрации. И все-таки, когда в публику проникли слухи о наших замыслах, многие решили, что предстоящая Казанская демонстрация

не 1900 а
8-го дек.
а 6-го
6-го
18

и есть та, которая должна была произойти у Исаакия. Давно жаждавшая сильных впечатлений, революционная молодежь отовсюду повалила к Казанскому собору и, сравнительно с рабочими, оказалась там, вопреки нашим первоначальным расчетам, в большинстве.

Рабочих пришло немного: 200—250 человек. И это было совершенно понятно. Если для принадлежавших к революционным кружкам рабочих демонстрация имела смысл агитационной попытки, то для их незатронутых пропагандой товарищей она могла быть интересна разве лишь, как новое, невиданное зрелище. Для деятельного участия в ней у них не было никакого осязательного повода. Поэтому они и не пошли на нее. Еще за несколько дней до демонстрации мы увидели, как несбыточны были розовые надежды задумавших ее революционных рабочих кружков. Но отступить было уже поздно. Мы все видели, как смешны стали в глазах публики слишком осторожные организаторы Исаакиевской демонстрации и не хотели уподобляться им. Вечером 4-го декабря, собрание, на котором, кроме нас, землевольцев, были влиятельнейшие рабочие с разных концов Петербурга, почти единогласно решило, что демонстрация должна состояться, если на нее соберется хоть несколько сот человек. На этом же собрании была предложена и одобрена мысль о красном знамени, о котором прежде никто не думал.

Вышитую на этом знамени надпись: „Земля и Воля“, мы считали наилучшим выражением народных идеалов и требований. Но именно народу-то, по крайней мере, столичному народу, она и оказалась непонятной. „Как же это так, — рассуждали потом на некоторых фабриках — они хотели земли и воли? Земля-то это так, земли точно надо бы дать крестьянам, а воля-то ведь уж дана. В чем же тут дело?“ Вышло, что и со своим девизом „Земля и Воля“ мы опоздали по меньшей мере на пятнадцать лет. Впрочем, местами в крестьянстве слышались на этот счет другие отзывы. Живший в Малороссии товарищ рассказывал мне, что раз при нем между крестьянами зашла речь о Казанской демонстрации. „Они хорошего хотели, — заметил один старик, — этого все хотят, нам всем нужна земля и воля“. Тот же старик никак не хотел поверить, что революционеры могут преследовать за столь справедливые требования. — „Ничего им не было, — утверждал он, — просто царь призвал их к себе и сказал: „Положите, хлопцы, будет вам и земля, и воля, только не надо об этом кричать на улицах“. Вообще, о Казанской демонстрации так или иначе заговорила вся Россия.

Но как произошла самая демонстрация? Я сказал, что собрание четвертого декабря решило не откладывать ее,

если соберется хот несколько сот человек. Весь следующий день был посвящен нами на беготню по рабочим кварталам. Утром шестого декабря на место действия пришли все „бунтарские“ рабочие кружки (лавристы были, разумеется, против демонстрации). В особенности хорошо были представлены гаванские рабочие: с одного из гаванских заводов пришла в полном составе целая мастерская в 40—45 человек. Но посторонних рабочих совсем не было. Мы видели, что сил у нас слишком мало, и решили выждать. Рабочие разошлись по ближайшим трактирам, оставив у соборной паперти только небольшую кучку для наблюдения за ходом дел. Между тем, учащаяся молодежь подходила большими группами. Находившаяся в церкви, очень, впрочем, малочисленная, публика уже к концу обедни была поражена страшным наплывом совершенно необычных богомольцев. Церковный староста поглядывал в их сторону с каким-то тревожным удивлением. Обедня кончилась, странные богомольцы не расходились. Тогда староста вступил с ними в переговоры. „Что вам угодно, господа?“ — спросил он, как нарочно подойдя к группе бунтарей.

— Желаем отслужить панихиду, — отвечали ему.

— Нельзя сегодня служить панихиду: царский день.

Бунтари изумились. Собственно, в план демонстрации богослужение вовсе не входило, но так как революционная публика все продолжала прибывать и бунтарям нужно было выиграть время, то они придумали панихиду просто, как благовидный предлог для дальнейшего пребывания в церкви. Когда староста разъяснил им, что нельзя служить панихиду, они недолго оставались в смущении.

— Я пойду закажу молебен, — шепнул мне покойный Сентянин.

— Идите, заплатите попам за наш постой, — ответил я, подавая ему трехрублевую бумажку.

Сентянин пошел. Но я до сих пор не знаю, на чем он порешил с попами. Соскучившиеся „нигилисты“ стали выходить на паперть, из соседних трактиров подошли заседавшие там бунтари-рабочие. Толпа приняла довольно внушительные размеры. Мы решили действовать.

До властей, вероятно, дошли слухи о наших приготовлениях. Но на Казанской площади полицейских и жандармов было немного. Они смотрели на нас и „ждали поступков“. Когда раздались первые слова революционной речи, они попытались было протиснуться к говорившему, но их сейчас же оттеснили назад. Все участники демонстрации пришли в страшное возбуждение. Рабочие плотным кольцом сомкнулись вокруг говорившего. „Ребята, держись тесней, не выдавай, не подпускай полиции“, — командовал

Митрофанов, между тем как полицейские свистки оглашали площадь. Когда речь была окончена, развернули красное знамя, раздались крики: „Да здравствует социальная революция, да здравствует Земля и Воля!“ Митрофанов быстро сдернул шапку с говорившего и надевши на него какую-то фуражку, закутал башлыком его голову. „Теперь пойдем все вместе, иначе будут арестовывать“, — закричали какие то голоса, и мы толпой двинулись по направлению к Невскому. Но едва мы сделали несколько шагов, как полиция, подкрепленная сбежавшимися на свистки городскими и околоточными, стала хватать шедших в задних рядах. Тут общее возбуждение дошло до последней степени. Кто-то скомандовал: „Стой, наших берут“, и толпа бросилась отбивать арестованных. Полицейские были смяты и побежали за собор, в Казанскую улицу. Если бы, отразив этот первый неприятельский натиск, революционеры выказали больше самообладания, то они, вероятно, смогли бы отступить без потерь и в полном порядке. Землевозыцы понимали это, и как только арестованные были отбиты, они закричали, чтобы публика снова сомкнулась в тесные ряды. Но кому из принимавших когда-нибудь участие в подобных столкновениях не известно, как трудно ввести в надлежащие границы раз прорвавшиеся наружу страсти. Публика продолжала преследовать обращенную в бегство полицию. Произошел страшный беспорядок, наши ряды совсем расстроились; между тем к полицейским явилось новое и сильное подкрепление. Целый отряд городских в сопровождении множества дворников быстро приближался к площади по той самой Казанской улице, к которой направились бежавшие полицейские. Увлечшись преследованием, революционеры столкнулись с этим отрядом лицом к лицу. Началась жесточайшая свалка. Силы полиции ежеминутно возрастали. Революционеров окружали со всех сторон. Стройное отступление сделалось для них совершенно невозможным. Хорошо было уже и то, что они могли отступать более или менее значительными кучками. Такие кучки по большей части успешно, хотя и не без значительных телесных повреждений, отбивались от нападавших. Но зато тех, которые действовали в одиночку, тотчас хватили и, после зверских побоев, тащили в участки.

— У меня нет охоты воспевать подвиги чьих бы то ни было кулаков. Но в виду зверства, проявленного тогда полицией, я не без удовольствия замечу, что и ей досталось порядочно. Революционеры, из которых некоторые были вооружены кастетами, отчаянно защищались. С их стороны в особенности отличился тогда студент Н. Высокий и сильный, он поражал неприятелей, как пылкий Аякс,

сын Теламона, и там, где появлялась его плечистая фигура, защитникам порядка приходилось жутко. Как ни старалась схватить его полиция, он счастливо отбил все нападения и возвратился домой таким же „легальным“ человеком, как и пришел на площадь. Пострадавшие от него защитники „порядка“ знали только, что их тузил какой-то высокий и сильный брюнет, но лица его они, очевидно, не запомнили. Когда потом, уже по окончании столкновения на площади, им встретился на Морской Боголюбов, они вообразили, что он-то и есть их свирепый неприятель. Боголюбова схватили, жестоко избили в участке, а потом, как известно, осудили на каторгу. Но Боголюбов не принимал ни малейшего участия в демонстрации.

Когда, по произнесении речи, развернули красное знамя, его схватил молодой крестьянин Потапов и, поднятый на руки рабочими, некоторое время держал его высоко над головами присутствующих. Полиция заметила его физиономию, однако арестовать его ей долго не удалось. Защищавшая его группа решительных и смелых людей медленно отступала по Невскому. Она дошла до угла Садовой. Преследование постепенно ослабевало и, наконец, повидимому, совершенно прекратилось. Тогда Потапов сел в конку, считая себя уже в безопасности. Но за ним следили шпионы. Пока он был не один, они держались в почтительном расстоянии, а когда спутники его удалились, шпионы бросились за конкой и, остановив ее, арестовали Потапова. На нем нашли знамя, которое само по себе составляло неопровержимую улику. Тем не менее, суд приговорил Потапова лишь к заключению в монастырь „на покаяние“. Сравнительная мягкость этого странного приговора объяснялась будто бы молодостью Потапова. Но известно, что в русских политических процессах судьи не стеснялись осуждать на каторжные работы, а потом, в военных судах, даже на смерть очень молодых подсудимых. В данном случае умысел был другой. Правительство решило шадить рабочих. На скамью подсудимых из них попало 10—12 человек, и всем им вынесен был довольно мягкий приговор: некоторых, подобно Потапову, приговорили к монастырскому покаянию, других к ссылке на поселение в Сибирь, подсудимые же из интеллигенции пошли по большей части в каторгу и притом на очень долгие, неслыханные до тех пор, сроки. Судьи не могли не видеть, что виновность почти всех подсудимых этой категории по меньшей мере сомнительна. У двух арестованных рабочих найдены были записки, которые, по замечанию прокурора, „ясно указывали на сговор“; они действительно ясно указывали на него, но не менее ясно было и то, что никто из преданных суду „интеллигентных“ рево-

люционеров в этом сговоре не участвовал. Третье Отделение хорошо знало, что главные подготовители демонстрации арестованы не были. Но суд не смутился этим, отомстив арестованным за действия скрывшихся. Известно, что, правительство всегда устанавливало в таких случаях род круговой поруки между революционерами. Но ему слишком неприятна была та мысль, что в среде рабочих могут быть такие же неисправимые „бунтовщики“, как и в среде „интеллигенции“. Оно старалось уверить себя, что лишь под дурным влиянием этой последней рабочие перестают быть верноподданными монарха, и очень неохотно сажало их на скамью подсудимых, предпочитая расправляться с ними административным порядком. Это было очень благоразумно. Пока в качестве политических преступников выступали только представители интеллигенции, можно было уверять крестьян, что преступники эти были барами, злившимися на царя за уничтожение крепостного права. По отношению к преступникам из рабочей среды подобные уверения сразу лишались всякого смысла, и образ „бунтовщика“ должен был принимать совершенно новый, очень неприятный для правительства, вид в народном воображении. Правительство очень хорошо понимало, какой невыгодный для него оборот примет революционное движение, если, не ограничиваясь одной интеллигенцией, оно увлечет хоть некоторые слои народа.

Казанская демонстрация была первой попыткой практического применения наших понятий об агитации. Понятия эти были в то время еще слишком отвлеченны, и уже по одному этому не могло быть удачным их практическое применение. Казанская демонстрация наглядно показала, что мы всегда будем оставаться одни, если в своей революционной деятельности будем руководствоваться лишь своим отвлеченным пристрастием к „агитации“, а не существующим настроением и данными насущными нуждами той среды, в которой собираемся агитировать.

Мы не забыли этого урока, но прошло более года, прежде чем нам представился случай снова взяться за агитацию в среде петербургского рабочего населения. Это был очень печальный случай. На Василеостровском патронном заводе произошел взрыв пороха. Несколько рабочих страшно изуродовало, четырех убило на месте. На другой день умерли от тяжелых ран еще двое. Таким образом, рабочим этого завода предстояло провожать на Смоленское кладбище шестерых товарищей. Взрыв произошел по непростительной вине заводского начальства. Пострадавшая мастерская помещалась во втором этаже и сообщалась с внешним миром одной только лестницей. Как раз при входе в мастерскую, около лестницы, лежал в особом

чулане довольно значительный запас пресованного пороха, из которого готовились патроны. Когда этот порох обтачивался на станках, от него поднималась мелкая пыль, покрывавшая станки, пол и стены мастерской. Достаточно было одной искры, пол и стены вспыхнула и, донеся огонь до помещавшегося у лестницы порохового чулана, отрезала рабочим всякий путь к спасению. Рабочие тем лучше сознавали грозившую им опасность, что искры часто получались во время работы от трения. Иногда от этих искр вспыхивала даже покрывавшая станки пороховая пыль. Но так как до поры до времени вспышки были незначительны, то начальство и полагалось на милость божию. Заявления рабочих оставались без внимания. Понятно, что, когда произошел взрыв, все рабочие этого завода были сильно озлоблены. Существовавший там революционный кружок тотчас увидел, что ему следует действовать. Кто-то из его членов написал воззвание, в котором происшедший на заводе несчастный случай ставился в связи с общим положением рабочего класса. Воззвание это, напечатанное в нашей тайной типографии, произвело хорошее впечатление, его с сочувствием читали даже и такие рабочие, которых прежде никто не замечал в сочувствии к революционерам. Но этого было мало. Революционный кружок патронного завода хотел придать предстоящим похоронам характер демонстрации.

Этот кружок не находился под исключительным влиянием „бунтарей“. Сносясь с „бунтарями“, он поддерживал постоянные дружеские сношения и с „лавристами“. Но ему было хорошо известно отрицательное отношение лавристов ко всякого рода „бунтовским попыткам“; он боялся, что те не одобряют мысли о демонстрации. Очень неприятно было рабочим огорчать друзей-лавристов, но отказаться от демонстрации было еще неприятнее. Вследствие этого они пустились на хитрость. Пригласив бунтарей притти на похороны, они настоятельно просили их ничего не сообщать лавристам. „бог с ними совсем, говорили они, лавристы—люди хорошие, но пойдут спорить, доказывать, что мы затеяли пустое, а нам послушаться их нельзя, очень уж возбуждены все рабочие“. Бунтари не имели ни малейшей охоты выдавать их лавристам.

В день похорон, часов в девять утра, хорошо вооруженная группа бунтарей, в числе их покойный Осинский, подошла к зданию патронного завода, перед которым собралась уже большая толпа рабочих. К бунтарям тотчас присоединились члены заводского рабочего кружка, тоже вооружившиеся на „всякий случай“. Покойный Халтурич, работавший в то время на другом заводе, также пришел на похороны. Начались совещания; каково настроение ра-

бочих, что именно могут сделать здесь революционеры. Бунтари находили, что выступать с революционной речью было бы неуместно. Одета по-праздничному рабочая толпа показалась им слишком „буржуазною“. И это впечатление было так сильно, что оно сообщило не только тем „интеллигентам“, которые, „занимаясь“ с заводскими рабочими, казалось бы знали их привычки, но — странно сказать—даже членам местного рабочего кружка. Те тоже сильно упали духом.

Показались гробы; присутствующие сняли шапки, и началось похоронное шествие. В тот день был жестокий мороз, еще более охлаждавший наши революционные порывы. „Нет, господа, революцию нужно делать летом, в этойкой холод никого не расшевелишь“,—говорили мы, оттирая побелевшие носы и уши.

Но вот и кладбище. В одном из отдаленнейших от входа углов его вырублено было в промерзшей земле шесть свежих могил, около которых лежали скромные деревянные кресты. Полиция, все время сопровождавшая шествие в довольно значительном количестве и усиленная новым отрядом городских у входа на кладбище, стала вокруг могил; священник пропел последнюю молитву; гробы опустили в землю. Пока их зарывали, толпа оставалась вполне спокойной, и мы совсем убедились, что с ней ничего не поделаешь. Но когда все было кончено и настало время расходиться, в ней началось какое-то движение. Незнакомый нам полный, рыжий рабочий протискался к одной из крайних могил.

— Господа,—воскликнул он взволнованным голосом.— Мы хороним сегодня шесть жертв, убитых не турками ¹⁾, а попечительным начальством. Наше началь...

Его прервали.

Раздалось полицейские свистки, и околоточный надзиратель положил ему руку на плечо со словами: „я вас арестую“. Но едва успел он выговорить это, как произошло нечто совершенно неожиданное. Со всех сторон раздались негодующие крики, и толпа, та самая толпа, которая произвела на нас безнадежное впечатление своею будто бы буржуазною прилизанностью, дружно кинулась на оторопевших полицейских. В одно мгновение арестованный был куда-то далеко унесен нахлынувшей рабочей волной, а хотевший взять его околоточный не совсем твердым голосом извинялся пред публикой.

— Ведь я же не могу иначе, господа, я сам отвечаю за беспорядки пред начальством.

¹⁾ Это было во время русско-турецкой войны.

— Рассказывай! Вот мы тебя вздуем, так ты впрямь не будешь соваться, куда не следует, — отвечали ему из толпы.

— Бей его! — кричали наиболее ожесточенные.

Положение полиции становилось критическим. Здесь, на далеком Смоленском кладбище, она была совершенно бессильна перед этой тысячью разъяренных рабочих. Но ее спасло именно ее очевидна для всех бессилие.

— Братцы, что же мы их будем бить, — сказал чей-то голос. — Нас много, их мало, стыдно нам с ними связываться. Пускай себе идут по домам; никого из нас они тронуть не посмеют.

Эта, не то дипломатическая, не то действительно великодушная речь несколько успокоила рабочих. Крики поутихли: публика перестала угрожать полиции побоями, но с другой стороны не хотела и отпустить ее с миром, так как боялась, что она проследит и арестует оратора. Толпа разделилась на две части, одна окружила полицейских, другая сплотилась вокруг оратора и торжественно повела его к воротам. Он, повидимому, никак не ожидал такой чести и сконфуженно поглядывал на товарищей, шумно выражавших ему свое сочувствие. Все они громко ругали начальство и полицию. Мне особенно бросилась в глаза худая, маленькая старушка, которая, ни к кому не обращаясь в частности и как будто разговаривая сама с собою, с жаром повторяла, что надо постоять за своего человека. И толпа, несомненно, готова была постоять за него, но ее, по ее неопытности, могли перехитрить шпионы. Бунтари нашли нужным подать ей благоразумный совет. У главных ворот кладбища стояло, в ожидании седоков, несколько извозчиков. Одному из них революционеры посадили в сани пытавшегося говорить рабочего, а всем остальным запретили двигаться с места. Для большей верности лошадей взяли под уздцы. Таким образом, ни один шпион не мог последовать за оратором, быстро уезжавшим в сопровождении двух надежных людей. Когда к воротам подошла остальная, конвоировавшая полицию, часть толпы, он уже совсем скрылся из виду. Полицейских продолжали, однако, держать в плену, отпуская на их счет различные, теперь уже по большей части добродушно-шутливые замечания. Но они едва не испортили дела излишним рвением. Очутившись за воротами, один околоточный, тот самый, который прервал оратора, выхватил из кармана свисток и быстро поднес его к губам, чтобы звать к себе на помощь. Публика снова заволновалась. У него вырвали свисток и несколько раз толкнули довольно сильно. Ему оставалось только ругаться. „Это бунт, — кричал он в бессильной ярости, — вы все ответите за это, вам так не пройдет!“

— А ты бы лучше помалкивал, покуда бока целы, — наставительно отвечали ему рабочие.

— Нечего мне молчать, я исполняю свою обязанность, а вы — бунтовщики, — горячился он, и вдруг обращаясь к группе бунтарей, заметил, что он всех их видел еще на Казанской площади.

— Очень приятно встретиться со старым знакомым, — любезно ответили бунтари, надеемся, — что это не в последний раз.

Рабочие рассмеялись. Околоточный пожал плечами и умолк, изобразив на своем лице полнейшее негодование.

— Ну что ж, пора их и отпустить, пусть пойдут домой, погрееются, — решила публика и стала расходиться кучками по двадцати-тридцати человек, оживленно толкуя обо всем случившемся. Только самые непримиримые продолжали еще бранить и даже толкать в спину размещавшихся по извозничьим саням околоточных. Наконец, ушли и непримиримые, и Смоленское кладбище приняло свой обычный пустынный вид.

Дружный отпор, данный полиции рабочими патронного завода, произвел прекрасное впечатление, как на рабочие кружки Петербурга, так и на „бунтарскую“ интеллигенцию. Он доказывал, что даже незатронутые пропагандой рабочие вполне способны к решительному и единодушному действию и в подходящую минуту не испугаются союза с „бунтовщиками Казанской площади“, т. е. с революционерами. Нам нужно было только не упускать таких минут, чтобы обеспечить себе сочувствие рабочей массы. Когда в марте того же года вспыхнула стачка на Новой Бумагопрядильне, мы были уверены, что легко сговоримся с нею.

Первая стачка на Новой Бумагопрядильне вызвана была, в марте 1878 г., значительным понижением заработной платы и длинным рядом „новых правил“, целью которых являлось все то же, любезное предпринимательскому сердцу, удешевление рабочей силы. На этой фабрике существовал небольшой революционный кружок из 10—12 человек, недавно привлеченных, неопытных и мало испытанных. Душою кружка был нелегальный унтер-офицер Гоббст, впоследствии в июле 1879 г., повешенный в Киеве, а в то время, о котором идет теперь речь, усердно разыскиваемый полицией по делу о пропаганде в войсках Одесского военного округа. Гоббст был не только вполне надежный, но положительно редкий человек. Он один стоил иного кружка. Однако, с фабричной средой он не успел хорошенько познакомиться, да притом, на фабрике он не работал, а жил по соседству с нею в качестве сапожника-хозяина единственной в той местности „кон-

спиративной“ квартиры. Таким образом, непосредственного влияния на рабочую массу он не имел. Ко всему этому нужно прибавить, что на Новой Бумагопрядильне—самой большой из фабрик Обводного канала, занимавшей более двух тысяч человек—работали тогда, как нарочно, все „серые“ люди, недавно попавшие в столицу и в целости сохранившие свои деревенские предрассудки. Можно представить себе поэтому те препятствия, которые должны были встретиться революционерам при их попытке войти в сношения со стачечниками.

Когда извещенные Гоббстом „землевольты“ явились на его конспиративную квартиру, дело обстояло так. Рабочие были вполне уверены, что „начальство“ немедленно вступится за них, как только поймет смысл „новых правил“. Разубедить их в этом не было никакой возможности. Приходилось уступить их наивной уверенности, предоставив им из опыта узнать, как велика заботливость русского „начальства“ о нуждах рабочего класса. Ближайшим к стачечникам представителем власти был местный полицейский пристав. К нему-то и обратились они прежде всего со своими жалобами. Пристав оказался большим дипломатом. Чтобы выиграть время, он ласково принял „ходоков“ и обещал им „переговорить“ с управляющим фабрикой. Простодушные рабочие заранее торжествовали победу. Но прошел день, другой, фабричные станки бездействовали, мелочные лавки стали отказывать стачечникам в кредите, а управляющий не обнаруживал ни малейшей склонности к уступкам. Что же это могло значить? Неужели пристав не „переговорил“ с ним? Снова отправились „ходоки“ в участок, но на этот раз их принесли там не попрежнему: пристав находил, что рабочие обязаны подчиниться новым правилам, „бунтовщикам“ же грозил строгим наказанием. Стачечники усмотрели из этого, что он „снюхался“ с управляющим и решили „итти выше“, т. е. к градоначальнику. Нечего и говорить, что тот сделал для них не больше, чем пристав. Тогда поднялись толки о подаче прошения наследнику.

На все это ушло с неделю, а за неделю революционеры успели уже довольно хорошо сойтись со стачечниками. С самого начала стачки рабочие заметили, что каждый раз, когда они собирались большой толпой, между ними появлялись какие-то незнакомые люди, одетые не совсем по-фабричному, пожалуй даже вообще смахивавшие на „студентов“, но неизменно тянувшие их руку. Эти люди подали уже не мало дельных советов. Они говорили, что не за чем ходить ни к приставу, ни к градоначальнику. Их не послушались, а вышло по-ихнему. Семейным стачечникам, на которых в особенности тяжело отзывалась

приостановка работы, а следовательно, и прекращение заработка, раздавались денежные пособия, раздавались, правда, своими же фабричными, но откуда у тех возьмутся деньги? Догадаться не трудно: деньги дают те же таинственные люди. Доверие стачечников к революционерам росло с каждым днем. До какой степени дорожила рабочая масса их неожиданной поддержкой, покажет следующий пример.

Одним из самых бойких членов местного революционного рабочего кружка был фабричный, которого мы назовем хотя Иваном. Прекрасный малый, очень неглупый, деятельный и энергичный, Иван имел страстишку выставиться и порисоваться. Этот недостаток его, с избытком искупавшийся, впрочем, его достоинствами, ставил иногда Ивана в довольно смешные положения. Однажды к величайшему нашему удивлению и огорчению, он вздумал прочесть стачечникам лекцию о прибавочной стоимости. Слушателям было совсем не до того: они собрались поговорить о том, как вести себя в виду неожиданной, для них измены пристава; лектор сам, как обнаружилось плохо понимал свой предмет, да, вдобавок, еще сильно смутился на этом первом, так-сказать, пробном уроке, и ничего кроме вздора, из его просветительных усилий не вышло. Он был сильно сконфужен своей неудачей. Мы думали, что теперь он уgomонится на долго, если не на всегда, но не тут-то было. Уже на другой день Иван позабыл об этом печальном происшествии, и его опять тянуло побаловать себя тем или другим эффектным положением. Приходит он однажды часов в 8 утра на квартиру Гоббста и торжественно обращается к одному из присутствующих там „бунтарей“.

— Петр Петрович, надо было смотр сделать!

— Какой смотр?

— Да больше ничего—вытти на улицу, людей посмотреть, себя показать. Скучает народ-то!

Бунтарь, названный здесь Петром Петровичем, отчасти походил характером на Ивана, с которым, кстати сказать, был большим приятелем. Он быстро сообразил, чего тот хочет, и без возражений вышел с ним на улицу. Спустя несколько минут вышли и остальные бунтари—их было 2—3 человека—очень заинтересованные новой затеей неугомонного Ивана. Дойдя до Обводного канала, они увидели такую картину.

Сотни стачечников покрывали набережную, образуя вдоль нее сплошную стену. Перед этой стеной медленно, торжественно шествовал Петр Петрович, а за ним на некотором расстоянии, двигался Иван, слегка повернув в сторону свою почтительно наклоненную голову, как бы

затем, чтобы хоть одно ухо было поближе к начальству и не проронило ни слова из могущих последовать приказаний. Всюду, где проходила эта пара, рабочие снимали шапки, приветливо кланяясь и отпуская на ее счет разные одобрительные замечания. „Вот они, орлы-то наши, пошли!“ любовно воскликнул в нескольких шагах от меня пожилой рабочий. Окружавшие его молчали, но видно было, что и им появление „орлов“ доставило большое удовольствие.

Комическая выдумка Ивана была подсказана ему верным пониманием настроения массы. „Народ“ действительно „скучал“, не видя революционеров. Он чувствовал себя бодрее и смелее в их присутствии.

Замечу, однако, что тогдашние представления огромного большинства стачечников об „орлах“ отличались большою неясностью. Стачечники видели в них своих друзей, но заметили также, что „орлы“ не ладят с полицией. Но это и все. В каких отношениях стоят революционеры к высшему начальству, в особенности к царю— об этом спрашивали себя тогда, вероятно, очень немногие из стачечников. Большинство приписывало нам, должно быть, свой собственный, вынесенный из деревни, взгляд на царя, как на верного защитника народных интересов. Наиболее же наивные доходили, пожалуй, до того, что принимали нас за тайных царских агентов. Я знаю, что в первое время стачки в существовании таких агентов твердо были убеждены, по крайней мере, некоторые рабочие. „Тише братцы,—крикнул однажды собравшейся перед фабричным зданием толпе какой-то прядильщик,—тут таскаются фискалы!“—Какие фискалы?—любопытствовал другой, обращаясь к своему соседу.—„А это, брат ты мой, такие люди, ответил тот, которых царь тайно посылает разузнать, нет ли где притеснения народу. Они походят, послушают, да ему и расскажут. Фискалов бояться нечего, это он напрасно, фискалы правду наблюдают“. Такое лестное понятие о фискалах скоро разбилось в прах при столкновении с действительностью. Не прошло и недели, как уже все стачечники хорошо знали, кому и о чем доносят фискалы. Фабричная молодежь стала устраивать на них настоящие облавы. Обыкновенно они происходили вечером. Отряд охотников отправлялся в один из местных трактиров, куда во время стачки часто забегали шпионы—пообогреться и прислушаться к разговорам публики, состоявшей из тех же стачечников. „Есть фискалы?“—спрашивает предводитель отряда кого-нибудь из знакомых.—„Вон сидит пара, давно уж тут вертятся, замечают да подслушивают“. Предводителю только этого и надо. Он шепчется со своими спутниками и располагается

пить чай неподалеку от фискалов. Едва те выходят из трактира, он выбегает за ними. „Ребята, фискал, держи, держи!“—кричит он что есть мочи. Фискалы бросаются бежать, но на первом же углу натываются на засаду. Их хватают и ведут к каналу. Здесь их вежливо кладут на землю и, как по наклонной плоскости, пускают катиться вниз по крутому берегу. Вывалившись в снегу и стукнувшись об лед, фискалы вскакивают и стремглав летят в участок. „Улю-лю-лю! улю-лю-лю!“—кричат им вслед рабочие и затем быстро расходятся по домам, во избежание полицейских возмездий. Рассказы об испытанных фискалами неприятностях очень потешали всех стачечников.

Собственно говоря, революционеры были для них такими же неизвестными людьми, как и фискалы. Иногда по тем или другим причинам, на место действия вместо старых, знакомых всей рабочей массе, „орлов“ являлись совершенно новые личности. Но замечательно, что стачечники никогда не ошибались, и ни разу ни одному революционеру не пришлось испытать на себе действие предназначенного для фискалов исправительного наказания. Рабочие каким-то чутьем отличали революционеров от полицейских сыщиков. Возможно, однако, что те из них, которые видели прежде в шпионах тайных агентов добродетельного царя, принимали потом за таких агентов самих революционеров. Возможно также, что они приписывали царской милости и раздачу денег лишившимся кредита семьям. По крайней мере, сближение с революционерами не мешало большинству стачечников надеяться на помощь со стороны трона. Именно от „орлов“—то и ждали, что они напишут прошение („хо-орошенькую бумажку!“). Обращаться с такой просьбой к революционерам значило почти то же, что просить сатану отслужить молебен угоднику. Землевладельцы заранее морщились при мысли о такого рода поручении, тем более, что „лавристы“, недовольные принятым ими способом действий, давно уже обвиняли их в измене революционным принципам. Но делать было нечего. Веру в царя нужно было разрушать не словами, а опытом. И вот однажды утром в квартиру Гоббста принесен был проект требуемого прошения. Одобренный местным рабочим кружком, он был представлен на рассмотрение рабочего собрания, состоявшегося на обширном дворе Бумагопрядильни. Малолетние рабочие („ребятишки“), все время принимавшие деятельное участие в стачке, рассыпались по прилегающим улицам и переулкам, чтобы в случае приближения полиции во-время предупредить собравшихся. Кто-то (кажется, все тот же Иван) взобрался на большую кучу каменного угля и громогласно прочел прошение. Оно вызвало всеобщий восторг. „Вашему Императорскому Вы-

сочеству, говорилось в нем, не безызвестно, какие плохие были отведены нам наделы, и как сильно страдаем мы от малоземелья! — „Верно, верно, гремела толпа, только звание, что земля, а пользы от нее никакой! — „Вашему Императорскому Высочеству не безызвестно также, что за эти плохие наделы мы платим огромные подати — продолжал чтец. — „И это так, и это верно, — одобряли слушатели, вздохнуть не дают с податями! — „Вашему Императорскому Высочеству не безызвестно, наконец, с какой жестокостью взыскиваются с нас эти тяжелые подати, — раздавалось с высокой каменноугольной трибуны, — нужда гонит нас на заработки в город, а здесь нас на каждом шагу притесняют фабриканты и полиция“. Далее следовал разбор вызвавших стачку новых правил, а в заключение говорилось, что, не видя ниоткуда защиты, рабочие ждут ее от наследника престола, но если и он не обратит внимания на их просьбу, то ясно будет, что им остается надеяться *только на самих себя*. Заключение также найдено было очень рассудительным. „Если от наследника ничего не добьемся, то уж надо будет, как-никак, поправляться самим“, — решили слушатели. Таким образом, прошение было готово. Но как доставить его наследнику? Итти „ходоком“ к Аничкову дворцу никому не хотелось, так как подобное путешествие могло закончиться очень неприятным образом. Решено было нести прошение целой толпою.

Полиция давно уже догадывалась, что стачечников поддерживают революционеры. „Фискалы“ лезли из кожи вон, стараясь выследить „подстрекателей“. Но землевольцев поймать было не легко, и шпионские усилия так и не привели бы, может быть, ни к чему, если бы не одна несчастная случайность.

Зимой 1877—78 г.г. „интеллигенция“ находилась в крайне возбужденном состоянии. Процесс 193, этот долгий поединок между правительством и революционной партией, в течение нескольких месяцев волновал все оппозиционные элементы. Особенно горячилась учающаяся молодежь. В университете, в медико-хирургической академии и в технологическом институте происходили огромные сходки, на которых „нелегальные“ ораторы „Земли и Воли“, нимало не стесняясь возможным присутствием шпионов, держали самые недвусмысленные речи. Недавно основанная тайная землевольческая типография усиленно работала. Кроме обширного отчета о „большом процессе“, из нее вышло тогда множество воззваний и, между прочим, проект адреса министру юстиции Палену от учащейся молодежи, заключавший в себе резкий протест против жандармской инквизиции (мы называли в шутку этот проект русской petition of rights). Все подобные издания

широко распространялись по России, но понятно, что больше всего их было в Петербурге, где их легко мог достать всякий желающий. Выстрел В. И. Засулич и вооруженное сопротивление жандармам Ковальского с товарищами в Одессе (30 января 1878 г.) еще более подлили масла в огонь. Жажда деятельности и борьбы пробуждалась в самых мирных людях. И не было революционного предприятия, для исполнения которого не нашлось бы многих и многих охотников.

Когда среди петербургской интеллигенции разнесся слух о стачке, студенты немедленно собрали в пользу забастовавших очень значительную сумму денег¹⁾. Но радикальная часть студенчества не довольствовалась денежными пожертвованиями. Ей хотелось поближе сойтись со стачечниками. Из студентов разных заведений составила небольшая группа, с целью пробраться на Обводный канал. Дойти до него было, конечно, не трудно, но никто из студентов не имел связей между тамошними рабочими. Они зашли в портерную лавку, вероятно, рассчитывая встретить там стачечников. От портерной было рукой подать до Бумагопрядильни, и в нее, действительно, нередко заходили рабочие, но именно потому там во время стачки постоянно заседали „фискалы“, разумеется, сейчас же обратившие внимание на необычайных посетителей. Необычайные посетители, с своей стороны, сообразили, с кем имеют дело, но отступить не захотели. Прилежавшие к Бумагопрядильне улицы имели уже тогда тот особенный вид, который, обыкновенно, принимают наши рабочие кварталы, когда в них пахнет хоть маленьким „бунтом“: шмыгают фискалы, озабоченно бегают околоточные, на перекрестках стоят целые кучи городских, иногда показывающиеся казаки, а не участвующие в „бунте“ редкие прохожие боязливо озираются по сторонам, точно вот-вот сейчас произойдет что-то очень страшное. Такая картина даже на бывалого, видавшего виды революционера действует всегда самым возбуждающим образом. Тем более сильно должна была она подействовать на молодых студентов. Войдя в портерную, они, повидимому, уже плохо владели собою, а когда заметили шпионов, совсем забыли всякую осторожность. „А вы слышали, господа, что в Ростове-на-Дону убили шпиона Никонова? ²⁾ Семь пуль всадили!“ — сказал один из них, нарочно возвышая голос, чтобы его могли слышать те, кому слышать их вовсе не следовало. —

¹⁾ Впрочем, деньги давали не одни студенты. Все либеральное общество отнеслось к стачечникам весьма сочувственно. Говорили, что даже г. Суворин разорился для их поддержки на три рубля. За достоверность этого слуха не могу, однако, поручиться.

²⁾ Свежая тогда новость.

„Не семь, а одиннадцать“, — поправил его шпион, надевая шапку и выходя на улицу. Через несколько минут он вернулся в сопровождении полицейских и пригласил г.г. студентов „на пару слов в участок“. О поимке „подстрекателей“ сейчас же известили начальника тайной полиции, который на подмогу вульгарным уличным шпионам отрядил какого-то чиновного сыщика. А тем временем полиция вошла во вкус арестов и стала хватать прохожих, почему либо казавшихся ей подозрительными. Так взят был совершенно ни за что, ни про что один псковский мещанин, едва только за несколько часов перед тем приехавший в Петербург и отправившийся на Обводный канал по какому-то частному делу. Почти одновременно с ним схватили на улице двух землевольцев, только что оставивших конспиративную квартиру Гоббста и пробиравшихся во двор. Арестовали также нескольких рабочих, считавшихся „зачинщиками“ и на самом деле принадлежавших к местному революционному кружку. Давно уже подготавливавшаяся, неизбежная полицейская гроза разразилась, наконец, со свойственной ей величавой силой.

Склонив управляющего на некоторые вполне ничтожные уступки, усмирители отпечатали и распространили между стачечниками, видоизмененные таким образом „новые правила“¹⁾, объявив, что всякий рабочий, отказывающийся подчиниться им, будет немедленно выслан на родину. К счастью, отказались все, а всех выслать было бы трудно даже для всемогущей полиции и невыгодно для фабрики.

Стачечники очень сочувствовали арестованным революционерам. „Жаль, что не видели мы, как их брали, — говорили некоторые, — мы отбили бы их у полиции“. Что же касается до арестов в их собственной среде, то они скорее ожесточали, чем запугивали рабочих. Во всяком случае, дня через два после описанных происшествий, снова поднялись толки о подаче наследнику забытого на время прошения, которое и было торжественно отнесено к Аничкову дворцу. Там его принял, для передачи по назначению градоначальник. Рабочие уверяли после, что когда Козлов брал у них прошение, наследник стоял у

¹⁾ Одним из схваченных землевольцев был пишущий эти строки. В участке, куда привели арестованных, лежала на столе пачка новых правил, напечатанных почти совершенно на таких же листках, на каких мы печатали наши воззвания. Я обратил внимание околоточного на редакцию этих правил: сначала в них идет речь о двух грошовых уступках, а дальше следует ряд статей, возвещающих понижение заработной платы. Надо было сделать наоборот: сначала возвестить о понижении платы, а потом уже обрадовать рабочих уступками. Таким образом они заели бы горькое сладким. — „Что прикажете делать, возразил околоточный с видом глубокой, но грустной покорности судьбе, рабочему человеку всегда будет горько, этого вы не перемените“.

окна и видел все происходившее. Это обстоятельство было, вероятно, плодом их фантазии, но тем не менее пришлось оно очень кстати. Никто не мог бы убедить впоследствии стачечников, что их прошение скрыли от наследника недоброжелательные к ним придворные.

Отнеся „бумагу“ во дворец, градоначальник опять вышел к просителям и объявил, что теперь наследник приказывает им разойтись, ответ же на их просьбу он даст им через несколько дней. Рабочие немедленно и совершенно спокойно исполнили это приказание.

Полиция притихла, не зная, как отнесется к прошению наследник, и стачка сделалась на время как бы совершенно законным явлением. О ней заговорили в газетах, осуждая действия фабричной администрации. Стачечники сделались героями дня. Адвокаты предлагали им безвозмездные услуги, на них стремились посмотреть, как смотрят на модные диковины. Какой-то „нигилист“, встретив случайно пары две интересных людей, затащил их к себе на квартиру, где их облюбовал целый десяток других нигилистов, также непременно желавших видеть их у себя дома и показать друзьям, — и пошли наши рабочие гулять из одной нигилистической квартиры в другую, всюду возбуждая живейший интерес и с удивлением присматриваясь к незнакомому им миру. Впрочем, это были бойкие „ребята“, умевшие показать себя и нимало не смущавшиеся непривычной обстановкой. Как сейчас помню визит их к одному либеральному адвокату¹⁾, к которому затащили их нигилисты, чтобы посоветоваться с ним „насчет стачки“. Он встретил их торжественно и даже с некоторою робостью, как встретил бы провинциал „знатного иностранца“, а они, порядочно уже избалованные бестолковым вниманием интеллигенции и успевшие возгордиться своим званием стачечников, обращались с ним покровительственно и преважно развалились в его мягких креслах. Землевольцы понимали, к каким нелепым последствиям может привести подобное сближение интеллигенции с рабочими. Они старались положить ему конец и при всяком удобном случае осмеивали его, как праздную забаву. Один из них уверял нигилистов, что скоро в тайной землевольческой типографии будет напечатано такое объявление: „В доме № X, в квартире № У, по такой-то улице (при этом точно обозначалась квартира, наиболее прославившаяся частыми приемами рабочих) от 2 до 6 часов пополудни показываются

¹⁾ Арест мой продолжался всего один день. В качестве нелегального я имел недурной паспорт и носил ничем незапятнанное в глазах полиции имя какого-то потомственного почетного гражданина. Меня выпустили, обязав подпиской о невыезде. Я добросовестно исполнил это обязательство, так как долго после этого не покидал Петербурга.

рабочие, принадлежащие к редкой и интересной породе стачечников. За просмотрение обыкновенные нигилисты платят по 20 копеек, выпущенные ¹⁾ по 10, нигилистки же смотрят бесплатно. Но насмешки действовали так же мало, как и увещания. В глазах многих „интеллигентов“ путешествия рабочих по нигилистическим квартирам имели свою полезную сторону. Путешествия эти давали, повидимому, возможность повлиять на стачечников даже таким революционным кружкам, которые не имея никаких постоянных связей на Обводном канале, очень огорчались, однако, преобладающим и постоянно растущим влиянием там „Земли и Воли“. Многие не сочувствовавшие „бунтарству“ революционеры были убеждены, что под нашим влиянием стачка непременно кончится кровавой вспышкой. Напрасно говорили мы, что у нас нет на уме ничего подобного; нам не верили и радовались всякому случаю противопоставить нам более „мирное“ влияние. В этом, конечно, не было бы большой беды, если бы противодействие нам велось хоть сколько-нибудь толково. Но что могло выйти из таких, например, собеседований с рабочими? „Мирный пропагандист“ настигает нескольких стачечников в какой-нибудь нигилистической квартире и заводит с ним разговор о стачке.

— Вы хотите, разумеется, чтобы стачка сохранила совершенно мирный характер?—спрашивает он их самым утвердительным тоном.

— Конечно, мирный,—отвечают вопрошаемые.—Нам что же, нам пусть отменяют новые правила, а больше нам ничего не нужно!

— Никаких беспорядков вы делать не желаете?

— Да зачем нам делать беспорядки?! Какой в них толк?

— Ну, вот и прекрасно, именно так поступать и нужно,—заключает вопрошатель и рассказывает потом, что он „сам“ говорил с рабочими и убедился, что бунтарям они вовсе не сочувствуют.

Иногда случалось так, что едва оставлял рабочих „мирный пропагандист“, их принимался допрашивать какой-нибудь молодой сторонник „вспышек“.

— Ну что, как у вас дела на фабрике?

— Да что ж наши дела, мы стоим на своем, а управляющий на своем, так вот и воловодимся.

— Не уступает?

¹⁾ Под именем выпущенных известны были тогда революционеры, привлекавшиеся по делу о пропаганде в 37 губ. и незадолго до „большого процесса“ выпущенные на поруки. Их было тогда очень много в Петербурге.

— Нет, пока что, крепко держится, шут его возьми!

— Ну, вы, конечно, за себя постоите? Его, подлеца, надо так проучить, чтоб он и детям своим заказал притеснять рабочих!

— Да уж, само собой, не поддадимся, мы и фабрику-то всю разнесем вдрызг, машины переломаем. Вот он и считай тогда барыши!

Сторонник вспышек уходил, вполне убежденный, что стачечники настроены самым „бунтарским образом“. Сначала рабочие совсем не понимали, чего собственно хотят от них „интеллигентные“ собеседники, и совершенно нелицемерно поддакивали людям противоположных мнений, так как на самом деле каждый стачечник, с одной стороны, вовсе не желал беспорядков, а с другой, очень не прочь был помечтать о хорошем уроке управляющему. Но потом они начали соображать, в чем дело, поняли, какая разногласица существует между „интеллигентными“ революционерами, и пришли в тяжелое недоумение. „Ах, ты Господи, твоя воля, воскликнул при мне у Гоббста один, только что вернувшийся „из города“, рабочий, каждый-то кружок решает наше дело по-своему. Вот тут и разбирайся!“

— А ты бы больше шлялся по городу, не то бы еще услышал,—сердито заворчал на него Гоббст, который, как человек бывалый и крепко державшийся раз принятого направления, нисколько не смущался революционными разногласиями. Но его молодой товарищ и сам, кажется, убедился, что ему совсем нет надобности „шляться по городу“.

Так как серьезные связи на месте были у одних только „землевольтцев“, то нечего и говорить, что влияние их на стачечников осталось непоколебимым. Рабочая масса попрежнему видела в них „орлов“, и с доверием прислушивалась к их советам. Мало того, обстоятельства складывались таким образом, что землевольтцы могли говорить с нею совсем откровенно. Наследник не сдержал своего обещания, не ответил на просьбу стачечников. Некоторые, более доверчивые из них, продолжали еще ждать и надеяться, но зато другие—и таких с каждым днем становилось больше—решили, что и наследник „не хуже градоначальника“ тянет руку управляющего. „Нечего было и ходить к нему, только сапоги трепали“,—говорили теперь нередко те самые люди, которые прежде энергичнее всех стояли за подачу прошения. Вынесенный из деревни политический предрассудок быстро уступал место трезвому взгляду на вещи. Прежде стачечники смотрели на верховную власть, как на верную защитницу народных интересов, теперь они стали видеть в ней сообщницу капиталистов. Этот новый взгляд немедленно же выразился в неизвестно кем сочиненной басне о том, что наследник

находится в интимной связи с женою управляющего и, кроме того, имеет свой пай в фабричном капитале. Едва ли кто из стачечников верил этой басне, но все повторяли ее очень охотно. Революционерам оставалось только подчеркивать те выводы, к которым пришли рабочие на основании собственного опыта.

Между тем, ничего не отвечая рабочим, наследник, очевидно, дал понять градоначальнику, что желает сохранить нейтралитет и что поэтому полиция может действовать с обычным своим усердием. Для стачечников вернулось тяжелое время. Полицейские преследования возобновились и росли с каждым днем. Дошло до того, что околоточные врываются в артельные квартиры и, с помощью городских, насильно тащили рабочих на фабрику. Наиболее упорных отводили в участок, а оттуда в пересыльную тюрьму. По улицам разъезжали сильные казачьи и даже жандармские отряды, присутствие которых должно было подавлять у стачечников всякую мысль об открытом сопротивлении. Наконец, явилась еще одна редакция „новых правил“, сулившая рабочим новые „уступки“. Доведенные до крайности, они сдались, и после двухнедельного затишья Бумагопрядильня снова пошла полным ходом.

Стачка была подавлена не экономической силой капитала, а простым полицейским насилием: денежные сборы между „интеллигенцией“ и рабочими разных промышленных заведений могли бы поддержать стачечников, по крайней мере, еще в течение целого месяца, дела же акционерного общества Новой Бумагопрядильни шли тогда далеко не так хорошо, чтобы оно могло вынести столь продолжительное „воздержание“ от эксплуатации чужого труда. Его выручила полиция. Стачечники ясно видели это, и нам представлялся прекрасный случай выяснить им великое значение политической свободы. Они хорошо запомнили бы наши слова, так как всякая общая мысль, схваченная ими во время таких движений, чрезвычайно прочно укрепляется в их головах. Но мы сами презирали еще тогда „буржуазную свободу“ и сочли бы себя изменниками, если бы вздумали восхвалять ее пред рабочими. В этом заключается самая слабая сторона нашей тогдашней „агитации“. Возбуждая рабочих против „властей“ и „государства“, она не сообщала им определенных политических взглядов и потому не придавала сознательного характера их неизбежной борьбе против *современного полицейского* государства. Замечательно, что с так-называемым обществом те же землевольцы считали возможным говорить совершенно иначе: они выставляли пред ним, по крайней мере, иногда, довольно определенные *положительные* политические требования (см., напр., фельетоны „Земли и Воли“).

Противопоставляя „социализм“ „политике“, землевольцы считали борьбу за политическую свободу делом буржуазии, рабочих же продолжали звать на „чисто“ экономическую революцию.

Как бы там ни было, стачка на Новой Бумагопрядильне, несмотря на свой неудачный исход и на нашу ошибку, принесла большую пользу делу рабочего движения в Петербурге. За ее ходом внимательно следили все петербургские рабочие, и многие „серые люди“, наверное, пришли к тем же выводам относительно царской власти, какие сделаны были ткачами и прядильщиками Обводного канала. Со своей стороны, власть эта, нужно отдать ей справедливость, не упускала случая показать, что она всецело стоит на стороне капиталистов. В конце ноября 1878 года произошла стачка на прядильной фабрике Кэнига за Нарвской заставой. Тамошние рабочие также вздумали обратиться с „прошением“ к наследнику, и утром 2-го декабря их выборные (30 человек) отправились к Аничкову дворцу. Там не только не помогли стачечникам, но даже не приняли их прошения. Ясно было, что правду говорили рабочие Новой Бумагопрядильни, что ходить туда — значило только „сапоги трепать“ без всякой пользы.

Впрочем, прядильщики кэниговской фабрики не очень нуждались в подобном уроке. Для них не прошел даром опыт их товарищей с Обводного канала. По всему видно, напротив, что они и раньше путешествия их выборных к Аничкову дворцу знали, где искать настоящих друзей. Хотя на этой фабрике совсем не велась революционная пропаганда, но стачечники с первого же дня забастовки решили сойтись со „студентами“ и отправили нескольких человек на Обводный канал разузнать, как можно найти этих людей, „помогающих рабочим“. Хождение к наследнику было предпринято с ведома революционеров и предпринято больше так себе, на всякий случай, чтобы окончательно убедить всех колеблющихся и сомневающихся, если бы оказались такие между стачечниками. Притом же, следует помнить, что по русским законам стачка есть уголовное преступление и что, в виду этого, „прошения“, подаваемые властям рабочими, имеют нередко значение встречного иска, противопоставляемого неизбежному иску фабриканта.

В подавлении стачки на фабрике Кэнига синяя полиция принимала более горячее участие, чем когда бы то ни было прежде. Рабочих прямо тащили в III Отделение, где и происходили их объяснения с хозяином. Пред этим таинственным трибуналом г. Кэниг утверждал, что рабочим у него не житье, а масленица, стачка же произошла вследствие „посторонних внушений“. Он обещал даже узнать

и сообщить полиции имена подстрекателей. В благодарность за это, третье-отделенские политики готовы были благословить будущего доносителя на самые противозаконные действия. Во всем этом деле их, разумеется, больше всего интересовал вопрос о подстрекателях. Только о подстрекателях и слышали рабочие, когда полиция принималась „разбирать“ их жалобы на хозяина. „Вы слушаетесь злых людей,—кричал рабочим какой-то синий „генерал“, явившись на фабрику в один из первых дней стачки,—у меня здесь сто шпионов следят за всем, что происходит у вас, но если хозяин найдет, что этого мало, я пришло еще столько же. Как только узнаю, что к вам ходят бунтовщики, всех вас в Архангельск сошлю!“¹⁾ Рабочие уверяли, что никаких бунтовщиков они не знают, а между тем продолжали свои сношения с революционерами и еще более проникались уважением к этим прежде неведомым людям, которых так сильно боялись генералы всех цветов и хозяева различных гильдий.

Интересно, что стачка на фабрике Кэнига начата была малолетними рабочими. Дело в том, что на бумагопрядильных фабриках получается много отброса, состоящего из порвавшихся ниток. Этот отброс образует возле станков кучи так-называемой *пыли*. Сортировкой „пыли“ на фабриках Кэнига занимается особый разряд работниц. Но незадолго до описываемого времени директор рассчитал этих работниц и возложил сортировку пыли на так называемых „задних мальчиков“²⁾. Те „взбунтовались“, заявивши мастеру, что не станут работать до тех пор, пока их не избавят от новой обузы. Кэниг хотел было покончить дело поголовным изгнанием всех непокорных задних мальчиков. Тогда вступили в стачку „средние мальчики“ и взрослые рабочие.

Несмотря на все полицейские застрашивания, стачечники держались превосходно. Они не уступили даже тогда, когда Кэниг решился на крайнюю меру, т. е. прогнал их *всех до единого*. Петербургские революционные рабочие кружки постарались пристроить их на других фабриках.

Тот же 1878 г. ознаменовался некоторыми, правда, незначительными победами петербургских рабочих. Так, в конце августа на фортепианной фабрике Беккера (на набережной Большой Невки) так называемые ящичники, т. е. столяры, делающие деревянный ящик фортепиано, потребовали повышения заработной (поштучной) платы. Г. Беккер

¹⁾ Заметьте, что всех рабочих у Кэнига было не больше 200.

²⁾ Каждый прядильщик работал на двух станках, причем у него были 2 подручных мальчика: так называемый *средний*, 17—19 л., и *задний* 12—14 лет.

ответил, что они могут увеличить свой заработок, переставши „понеделничать“, т. е. аккуратно являясь на работу по понеделникам. Ящичники забастовали. Через три дня хозяин сдался.

Так же неудачно для хозяев кончились столкновения их с „рабочими руками“ на табачных фабриках Мичри и бр. Шапшал. Эти столкновения интересны тем, что на названных фабриках работали исключительно женщины.

24-го сентября в мастерских табачной фабрики Мичри появилось объявление, гласившее, что папиросницы, получавшие 65 коп. за 1000 штук папирос первого сорта, впредь будут получать 55 к., а за 1000 шт. папирос второго сорта, вместо прежних 55 к., будет платиться 45 к. Это понижение платы мотивировалось плохим сбытом товара. Мастерницы, как называют себя работницы, сорвали это объявление и пошли в контору для объяснений. Там они сказали приказчику, что не согласны работать за уменьшенную плату и просили принять от них палочки и машинки для делания папирос. Тот обругал их непечатной бранью. Его грубость окончательно взорвала „мастериц“, палочки, машинки и даже скамейки полетели в окна, приказчик струсил и послал за хозяином. Г. Мичри не заставил долго себя ждать. Он немедленно явился на фабрику, и ласковая речь его, а больше всего обещание уступки успокоили толпу, состоявшую, приблизительно, из сотни женщин. Попытка понизить и без того невысокую плату окончилась полной неудачей.

Через 2 дня такая же история повторилась на фабрике бр. Шапшал на Песках. Там приказчик вывесил следующее объявление:

Мастерицам табачной фабрики Шапшал.

Сим объявляю, что, по случаю остановки сбыта товара, я сбавляю с каждой 1000 папирос по 10 коп.

Шапшал.

Мастерицы, здесь уже в числе 200, немедленно сорвали это объявление и на его месте вывесили новое:

Хозяину табачной фабрики Шапшал.

Мы, мастерицы вашей фабрики, объявляем, что не согласны на сбавку, потому что и так от нашего заработка не можем порядочно одеться.

Мастерицы вашей фабрики.

Приказчик собрал мастериц и потребовал, чтобы они указали писавшую объявление. Они ответили, что это излишне, так как объявление писано от имени их всех, и стали уходить. Приказчик поспешил послать за хозяином. После напрасных попыток убедить мастериц работать за пониженную плату, г. Шапшал вынужден был уступить подобно г. Мичри.

В следующем, 1879 году, стачечная зараза охватила несколько фабрик одновременно. Обнаружилась она прежде всего на знакомой уже читателям Новой Бумагопрядильне.

С тяжелым сердцем, уступая полицейскому насилию, рабочие Новой Бумагопрядильни говорили нам, что они покоряются ненадолго и при первом же удобном случае опять забастуют. По правде сказать, мы не верили им, видя в их словах не более, как желание утешить и себя и нас в испытанной неудаче. Но мы ошибались. Уже в ноябре 1878 г. полиция имела много хлопот с неугомонной Бумагопрядильней. Восьмого ноября (Михайлов день) тамошние рабочие не явились на фабрику, мотивируя это тем, что, дескать,—праздник, работать грех. Но на других фабриках работа шла своим чередом, и управляющий Бумагопрядильни вздумал наверстать потерянное время удлинением рабочего дня с 13 часов, как было до тех пор (от 5 часов утра до 8 часов вечера с вычетом 2 часов на еду) до 13¼ и продолжать работу при этом условии до тех пор, пока из кусков времени не составит полный день. Два дня работа шла до 8¼ ч., возбуждая сильное неудовольствие рабочих. На третий день кому-то пришло в голову вернуть главный газопроводный кран в 8 часов. Как только эта мысль была приведена в исполнение, рабочие густой толпой повалили из фабрики, причем разбили несколько стекол и испортили 9 основ. Верный друг „отечественной промышленности“, полиция, не могла во-время явиться для восстановления „порядка“, но зато на следующее утро на фабрику явилась целая орда охранителей, и в течение нескольких дней работа происходила в их благодетельном присутствии, хотя уже не до 8¼, а только до 8 часов. Началось следствие: кто потушил? Кто мог потушить? Человек 7 рабочих таскали в участок. Пристав горячился и кричал, что „ушлет их в Архангельскую губернию“. Однако это не помогло. Рабочие отвечали, что ничего не знают. Одна женщина, работавшая недалеко от крана, показала на допросе, что кран завернул какой-то рабочий, лицо которого было закрыто передником. Кто был этот рабочий—осталось неизвестным, дело пришлось передать „суду и воле божией“. С тех пор полиция стала зорко следить за рабочими.

15 января следующего года рабочие Бумагопрядильни, по обыкновению, пришли на фабрику рано утром. Несколько часов прошло обычным порядком; но пред обедом в ткацкое отделение явился главный мастер и вывесил объявление, приглашавшее 44 ткачей к расчету. На вопрос, за что такая немилость?—мастер ответил, что эти 44 человека выбрасываются на улицу за свое „бунтовство“, и что впредь все неблагонадежные будут прогоняемы. Заявил он также, что вообще администрация фабрики, в виду постоянных бунтов, думает заменить ткачей-мужчин женщинами и детьми. Речь его была прервана взрывом негодования. Объявление было изорвано в клочки, сам оратор должен был ретироваться. Ткачи высыпали на улицу и разбрелись по домам обедать. После обеда они собрались перед воротами фабрики густой толпой, через которую не прошел ни один из тех, кто еще колебался пристать к стачке. Директор поспешил известить полицию о новом „бунте“. Около фабрики забегали „фискалы“, показались околоточные, в полной форме, с револьверами на боку; их сопровождали десятки городских. Но полиция пока еще не обнаружила большой стремительности, вероятно, потому, что не получила еще надлежащих наставлений свыше.

К вечеру того же дня ткачи решили, кроме отмены распоряжения об изгнании бунтовщиков, требовать также: 1) повышения заработной платы—5 коп. на кусок ткани; 2) сокращения рабочего дня на 2½ часа; 3) отмены некоторых штрафов; 4) изгнания нескольких ненавистных им мастеров и подмастерьев; 5) присутствия выборных от рабочих при приеме сдаваемой ими ткани и, наконец; 6) выдачи им платы „за все время стачки, как будто работа и не прекращалась“. Требования эти были немедленно записаны и, если не ошибаюсь, отпечатаны в тайной типографии „Земли и Воли“.

Слухи о стачке на Новой Бумагопрядильне быстро распространились между фабричными, и на следующий день на Обводный канал явилось 40 выборных от ткачей фабрики Шау (Шавы, как произносили рабочие) за Нарвской заставой. „Шавинские“ также решились забастовать и предлагали „новоканавцам“ 1) выработать общие требования. Правда, полного тождества в требованиях стачечников этих двух фабрик быть не могло, так как порядки, практиковавшиеся г. Шау, отличались от порядков, существовавших на Бумагопрядильне. У „Шавы“ работа шла безостановочно день и ночь, причем, рабочие разделялись на две смены: одни сутки одна смена работала 16 час. а другая 8, следующая—наоборот. Трудолюбивый фабри-

1) Рабочие называли Обводный канал Новой Канавой.

кант не прекращал работы даже вечером накануне праздников: она приостанавливалась только в 6 часов праздничного утра. Г. Шау заботился также и о продовольствии рабочих: у него была мелочная лавка, в которой они *обязаны* были покупать продукты. Читатель легко может представить себе, как выгодно это было для заботливого хозяина. Иногда, придя за получкой в контору, рабочий узнавал, что весь его заработок ушел на уплату по его забору в хозяйской лавке.

С одобрения „новоканавцев“ „шавинские“ рабочие представили своему хозяину следующие требования:

„1) Чтобы на каждый вытканый кусок прибавили платы по 5 к.

„2) Чтобы прогульные дни не считались, если сам хозяин виноват в прогуле.

„3) Чтобы основы выдавали хорошие, и чтобы материал выдавался при наших выборных.

„4) Чтобы товар не браковали зря, чтобы за этим тоже следили наши выборные.

„5) Чтобы не штрафovali за полом инструментов, за отсутствие из фабрики по болезни и надобности.

„6) Чтобы за харчи платить не в конторе, как теперь, а в лавке, по получке денег на руки.

„7) Чтобы на больницу платилось не по 1¹/₄ коп. с рубля, а по 10 коп. в месяц.

„8) Чтобы за кипяток ¹⁾ на фабрике рабочие не платили.

„9) Чтобы утром давалось время с 8¹/₂ до 9 ч. на завтрак.

„10) Чтобы накануне праздников работа кончалась в 8 час. вечера.

„11) Чтобы газовые горелки расположить, как лучше для работы; мы сами укажем место для них; а то теперь в иных местах вовсе свету нет.

„12) Чтобы прогнать с фабрики подмастерьев: Никифора Арсеньева и Нефеда Ефимова, Николая Волкова и шпульника Кирилла Симонова. Нам от них нет житья и мы с ними не хотим работать.

„13) За время стачки денег с нас не вычитать, потому что мы не работаем не по своей вине, а по упорству хозяев.

„14) Чтобы никого из нас не брали в полицию за то, что не работаем, а тех, что теперь забрали, пусть выпустят“ ²⁾.

¹⁾ Для чая.

²⁾ Подробности об этих и некоторых предыдущих стачках заимствованы мною из 3 и 4 №№ „Земли и Воли“, где они были описаны мною на основании сведений, своевременно собранных на месте.

Предъявленное фабриканту последнее (14-е) требование с формальной точки зрения могло бы показаться бессмыслицей. Но в действительности оно имело большой практический смысл, так как аресты рабочих происходили по настоянию и нередко по личному указанию фабрикантов. Стаечники нашли полезным предупредить г. Шау, что даже в случае исполнения всех остальных требований они не станут работать, пока не прекратятся аресты и не будут освобождены арестованные.

На сходке представителей от обеих фабрик были, между прочим, обдуманы меры для поддержания беднейших из стачечников. Таких, естественно, должно было отказать более у „Шавы“, который грозился немедленно прекратить выдачу припасов из своей лавки. Решено было первые сборы предоставить в распоряжение его рабочих. Сбор же предполагалось делать на всех фабриках и заводах. В этом смысле были напечатаны (разумеется, в тайной типографии) воззвания ко всем петербургским рабочим. Надежда на их помощь не была напрасной: сборы делались почти повсеместно, и возбуждение рабочих во время этих сборов было подчас так велико, что грозило перейти, а местами и переходило, в забастовку.

На фабрике Мальцева (на Выборгской Стороне) разбросаны были воззвания стачечников. По этому поводу полиция арестовала рабочего, заподозренного в их разбрасывании. Его товарищи заволновались. Пошли толки о том, чтобы последовать примеру „новоканавцев“, но хозяин ласковым обращением и обещанием разных благ в будущем восстановил спокойствие. Г. Чешеру (его фабрика тоже была на Выборгской Стороне) не удалось отделаться одними обещаниями: он вынужден был прибавить по 3 коп. на каждый кусок ткани. Волновались рабочие на Охте. Так заразительно подействовал пример. А тем временем полиция и фискалы делали свое дело.

Уже в ночь с 16—17 числа произведено было несколько арестов. Арестовано было 6 человек из рабочих Шау, 20 человек с Н. Бумагопрядильни, один слесарь на Лиговке и т. д. Аресты еще более усилили раздражение рабочих. До 17 го числа только ткачи участвовали в стачке на Н. Бумагопрядильне. С того же числа к ней пристали и прядильщики: фабрика совсем остановилась. О подаче каких бы то ни было „прошений“ теперь уже никто не думал. „Новоканавцы“ только смеялись, когда мы напомнили им об их прошлогоднем хождении с прошением: „то-то дураки-то были!“—говорили они.

На фабрику Шау в качестве миротворца явился некий „полковник“. Рабочие подали ему письменное изложение

своих требований и категорически заявили, что на меньшем не помирятся.

— Согласны вы на эти требования?—спросил полковник хозяина.

Тот, разумеется, ответил отрицательно.

— Ну, так чего же вы, такие-сякие, хотите?—заревел миротворец,—да я вас!... и т. д., и т. д. полились обычные в таких случаях словеса „кротости и увещания“, т. е. брань, украшенная непечатными словами... „у меня, заключил храбрый воин, сейчас 25,000 солдат под ружьем, попробуйте только бунтовать!“

— Больно уж много ты, ваше благородие, войска-то для нас подготовил-то,—насмешливо заметили рабочие,—нас всего-то здесь 300 человек с бабами, и с ребятишками, а мужиков-то не будет больше сотни.

Полковник понял, что зарапортовался, и прикусил язык, приказав, для поддержания своего авторитета, схватить одного из остряков, но толпа окружила эту жертву полковничьего смущения и отстояла ее от полицейских покушений. Так и уехал ни с чем чиновный миротворец.

Не желая обращаться к властям ни с какими *прошениями*, стачечники нередко предъявляли им теперь очень настойчивые *требования*. Так, например, рабочие Н. Бумагопрядильни, решились требовать освобождения своих товарищей, арестованных ночью с 16 на 17 января; 18-го числа часов около 10 утра, толпа около 200 человек собралась недалеко от здания фабрики. Здесь было прочитано и одобрено следующее заявление:

„Мы, рабочие Новой Бумагопрядильни, сим заявляем, что не пойдем на работу, пока не будут уважены все наши, заявленные хозяину, требования. Что же касается полиции, то мы отказываемся от всякого вмешательства с ее стороны для примирения нас с хозяином, пока не будут освобождены наши товарищи, люди, за которыми мы не знаем ничего худого. Если их обвиняют в чем-либо, пусть судят их у мирового, причем мы все будем свидетелями их невинности. Теперь же их арестовали и держат без суда и следствия, что противно даже существующим законам“.

Когда читалось это заявление, подошел околоточный, он предложил рабочим пойти к участку для объяснения с приставом, но они предпочли переговорить с градоначальником. Путь их к дому градоначальника лежал через Загородный проспект. На нем есть или, по крайней мере, был дом „мещанской гильдии“, с проходным двором. Едва рабочие прошли через этот двор и вышли на Фонтанку, их атаковали жандармы с приставом Бочаровским во главе, тем самым приставом, который только что при-

глашал стачечников притти к нему для объяснений. По всей вероятности, полиция, еще накануне узнавши о намерении рабочих добиться освобождения заключенных, заранее приготовилась к отпору, и переданное околоточным приглашение пристава было простой ловушкой. Видя, что не удастся заманить рабочих в участок, г. Бочаровский пустился преследовать их, как Фараон убежавших из Египта евреев.

Произошла свалка. Жандармы мяли лошадьми рабочих, рабочие защищались, как умели. У некоторых оказались кистени, а знакомый уже читателю Иван, принимавший горячее участие в стачке, вытащил даже кинжал и ранил им лошадь наскочившего на него жандарма. Но силы были слишком неравны, нападение было слишком неожиданно. Жандармы победили. К счастью для рабочих, упомянутый проходной двор обеспечил им довольно безопасное, хотя и беспорядочное отступление.

Со времени этой битвы полиция удесятерила свою энергию. Начались непрерывные аресты. Нескольких так называемых зачинщиков выслали на родину, других—в северные губернии. Рабочих били и даже грабили ¹⁾. Лавочникам полиция прямо запретила давать стачечникам в долг продукты. Зараженные стачкою местности были буквально наводнены „селищей жандармскою“. Через несколько дней упорного сопротивления рабочие сдались, получив некоторые ничтожные уступки.

Эта новая неудача изменила настроение бывших стачечников разве только в смысле еще большего озлобления против всяческого начальства и еще большего сочувствия к революционерам. Рабочая среда вообще все более привыкала смотреть на революционеров, как на своих естественных друзей и союзников, а на тайную землевольческую типографию, как на орудие гласности, всецело предназначенное к их услугам. Такой взгляд укреплялся даже в тех уголках Петербурга, куда не проникала революционная пропаганда.

Однажды мне, как члену редакции „Земли и Воли“, передали конверт с надписью: *Господину редактору*. Я нашел в нем две четвертушки серой бумаги. „Господин редактор,—написано было на одной четвертушке,—пожалуйста, напечатайте наше воззвание и, если нужно, будьте так добры, поправьте“. На другой написано было воззвание: „Голос рабочего народа работающих и страдающих у под-

¹⁾ Один из стачечников проходил недалеко от Н.-Бумагопрядильни, играя на гармонике. На него бросился жандарм и выхватил гармонику. Рабочий отправился жаловаться на этот „денной грабеж“ в участок. Его выругали, а гармоники не возвратили.

леца Макселля". В воззвании говорилось, что рабочие фабрики Макселля, доведенные до крайности хозяйскими притеснениями, видят себя вынужденными прибегнуть к стачке и, сообщая об этом остальным петербургским рабочим, просят их поддержки. Текста воззвания я на память, разумеется, восстановить не могу. Помню только одну фразу из середины:— „мы работаем, стараемся, а он совсем не доволен нами“—да заключительные слова:— „Будем же твердо стоять каждый за всех и все за каждого“. Зато я хорошо помню общее впечатление, произведенное воззванием на меня и на моих товарищей по редакции. Мы, положительно, пришли в восторг. Столько свежего чувства, столько простоты и непосредственности, столько трогательной неумелости и, вместе с тем, столько неотразимой убедительности было в этой далеко не грамотной прокламации, что мы сочли непозволительным делать в ней какие-нибудь существенные изменения и ограничились исправлением грамматических ошибок. Едва ли не на следующий же день воззвание было отпечатано и передано авторам. Вот что узнал я о причине неудовольствия макселлевских фабричных.

Низкая плата, непомерно длинный рабочий день, штрафы и придирки мастеров и подмастерьев,—все это, разумеется, имело место на фабрике г. Макселля, как и на других фабриках. Но этот почтенный предприниматель внес, кроме того, еще одну особенность в практикуемый им способ эксплуатации рабочей силы. Около своей фабрики (за Невской заставой) он выстроил большой дом для помещения своих рабочих. Другими словами, к выгодному ремеслу фабриканта он решил присоединить тоже невыгодное ремесло домовладельца. Надо отдать ему справедливость—дом его был построен очень хорошо, жить в нем было бы очень удобно, несравненно удобнее, чем в тех грязных домах без воздуха и света, где ютились его рабочие. Беда заключалась лишь в том, что назначенные г. Макселлем квартирные цены были сравнительно очень высоки и уж во всяком случае не по средствам фабричных рабочих. Вот почему те и не хотели селиться в его фаланстере. Со своей стороны, просвещенный капиталист так твердо решился облагодетельствовать свои „рабочие руки“, что не отступал даже пред очень крутыми мерами. Он грозил немедленно прогнать с фабрики всех консерваторов, отказывающихся жить в его доме. Отсюда—раздражение рабочих, решившихся стачкой положить конец оздоровительному упорству г. Макселля. Совершенно без всяких „посторонних внушений“ и помимо всякого влияния затронутых революционной пропагандой „бунтовщиков“,—таких не было на их фабрике.—они выработали план действий,

а для исполнения его сочли необходимым обратиться за помощью к рабочему населению Петербурга и к революционному обществу „Земля и Воля“. Нечего и говорить, что воззвание было написано ими самими, но следует прибавить, что мысль о нем подана была им примером „шавинских“ и „новоканавских“ рабочих, которые, как я уже сказал, во время своей стачки обращались с воззванием „к рабочим всех петербургских фабрик и заводов“. Вероятно, это последнее воззвание тогда же попало на фабрику Макселля, очень возможно также, что макселлевские рабочие не отказались поддержать стачечников своими трудовыми грошами, и теперь были уверены, что и им не откажут в такой же поддержке. Заключительные слова „голоса рабочего народа, работающих и страдающих у подлеца Макселля“ были целиком заимствованы из одного воззвания, напечатанного по поводу второй стачки на Обводном канале. Эти слова: „будем же твердо стоять каждый за всех и все за каждого“—как видно, хорошо выразили тогдашнее настроение петербургских рабочих, потому что после неизменно потворялись ими во всевозможных случаях их борьбы с полицией и предпринимателями.

Вообще, в то время рабочее движение росло с небывалой быстротой. Любопытно видеть, как отражалось это явление в тогдашней революционной литературе.

Передовая статья № 4 „Земли и Воли“, вышедшего в свет 20 февраля 1879 г., целиком посвящена вопросу о роли городских рабочих „в боевой народно-революционной организации“. „Волнения фабричного населения, говорится в этой статье, постоянно усиливающиеся и составляющие теперь злобу дня, заставляют нас, раньше чем мы рассчитывали, коснуться той роли, которая должна принадлежать нашим городским рабочим в этой организации. Вопрос о городском рабочем принадлежит к числу тех, которые, можно сказать, самую жизнь, самостоятельно выдвигаются вперед, на подобающее им место, вопреки априорным теоретическим решениям революционных деятелей“¹⁾. Чрезвычайно характерно это невзначай вырвавшееся у народника признание. Рабочий вопрос, действительно, самую жизнь выдвигался вперед, наперекор народнической догматике. Неудивительно, что разрешить его нельзя было с помощью этой догматики. Народническая интеллигенция могла лишь, подобно автору указанной статьи, рекомендовать рабочим-социалистам „агитацию“, „агитацию“, „агитацию“ и „агитацию“ да упрекать их в том, что они, будто бы, забывая об этой агитации, слу-

¹⁾ Курсив мой.

шают „чтения о каменном периоде или о планетах небесных“. К началу 1879 г. рабочее движение переросло народническое учение на целую голову. В виду этого неудивительно, что наиболее развитая часть петербургских рабочих, вошедшая в основанный около того времени „Северно-Русский Рабочий Союз“, в своих политических взглядах и стремлениях значительно разошлась с бунтарями-народниками.

IV.

„Северно-Русский Рабочий Союз“ естественно возник из того ядра петербургской рабочей организации, которое, как я говорил в первой статье, составилось из „старых“ испытанных революционеров-рабочих.

Формальное основание Союза относится, насколько могу припомнить, к концу 1879 г. Уже с первых недель своего существования он насчитывал не менее 200 членов, а вокруг него группировалось, по крайней мере, столько же сочувствующих, но еще не посвященных в организационную тайну рабочих. Большинство членов его принадлежало к числу „заводских“. В каждом значительном рабочем квартале Петербурга были особые кружки, составлявшие местную ветвь Союза. Каждая ветвь имела свою кассу и свою „конспиративную“ квартиру. Для заведывания ее делами выбирался небольшой комитет. Члены местного комитета были в то же время членами Центрального Кружка, который собирался через известные промежутки времени по общим делам Союза. В распоряжении Центрального Кружка находилась особая касса, а также союзная библиотека. Центральная касса, как и местные кассы, пополнялась членскими взносами. Около времени второй стачки на Новой Бумагопрядильне в ней было руб. 150—200. Эта „свободная наличность“, как выразился бы г. Вышнеградский, вся ушла на поддержку стачечников, но члены Союза исправно делали свои взносы, и потому пустою касса его никогда не оставалась. Что касается библиотеки, то ею особенно дорожил и гордился Союз. И, действительно, она была самым ценным его достоянием. Составилась она частью из купленных рабочими, а больше из пожертвованных интеллигенцией книг. Собирались эти книги в течение целого года и собирались так старательно, что едва ли хоть один гражданин „интеллигентной“ республики Петрополя избежал неожиданного книжного налога. Много хламу подарила рабочим интеллигенция, но подарила не один хлам. По пословице „с миру по нитке— голому рубаха“, у Союза образовался большой запас книг по самым различным отраслям знания. Число книг было так велико, что нельзя было хранить их в одной

рабочей квартире. Вследствие этого библиотека была подразделена на несколько частей и развезена по различным рабочим кварталам. Каждый квартал имел своего библиотекаря, у которого был полный список всех принадлежавших Союзу книг. Если кто-нибудь из членов местной ветви выбирал по этому списку такое сочинение, которого не было в библиотеке данного квартала, то библиотекарь представлял заявленное требование очередному собранию Центрального Кружка, и книга доставлялась из другого квартала. Благодаря такой постановке дела, полиции все же не так легко было открыть существование библиотеки и „накрыть“ ее обладателей. Пользовались книгами, через посредство знакомых членов, и не принадлежавшие к Союзу рабочие, но о существовании библиотеки, разумеется, не знали.

Практика скоро обнаружила главнейший недостаток новой организации. Союз, как целое, мог действовать только по решению Центрального Кружка, собиравшегося два раза в неделю. Занятые работой и живущие в различных частях города, а иногда и за городом, члены Центрального Кружка не могли встречаться чаще. Но в промежутки времени между двумя его собраниями могли совершиться события, требовавшие немедленного действия со стороны Союза. Как поступить в таком случае? Устав не говорил. Когда началась вторая стачка на Новой Бумагопрядильне, до очередного собрания Центрального Кружка оставалось два дня. Халтурин, тотчас узнавший о ней, очутился в очень затруднительном положении: до очередного собрания стачка легко могла быть подавлена полицией, а между тем, чтобы обегать всех членов Центрального Кружка и созвать их на чрезвычайное собрание (известно, что к почте русские революционеры, по понятной причине, прибегают очень неохотно), надо было тоже не менее двух дней. Замедление во всяком случае было неизбежно, и Халтурину пришлось на первое время ограничиться личными сношениями со стачечниками. Придать организации Союза большую легкость и подвижность можно было лишь избранием особого распорядительного комитета, состоящего из небольшого числа лиц и имеющего право, в важных случаях, действовать по собственному усмотрению, не дожидаясь собраний. К этой мысли, кажется, и пришли потом члены Союза.

Возникновению Союза нельзя было не радоваться даже с нашей тогдашней, народнической точки зрения. Но программа его причинила нам не малое огорчение. В ней—о, ужас!—прямо было сказано, что рабочие считают завоевание политической свободы необходимым условием дальнейших успехов своего движения. Мы, презиравшие

„буржуазную“ свободу и считавшие ее опасной ловушкой, оказались в положении высидевшей утят курицы. В особой заметке, посвященной обзору новой программы, редакция „Земли и Воли“ мягко, но решительно высказалась против рабочей ереси. В заметке повторены были те доводы, которые обыкновенно выставлялись народниками и бакунистами против „политики“. Но членам Союза такие доводы перестали казаться убедительными. В ответ на заметку они прислали длинное письмо в редакцию, в котором говорили, что решительно не видят, как может успешно итти рабочее движение при отсутствии политической свободы и каким образом для рабочих может быть невыгодно приобретение ими политических прав¹⁾. Тяжело было народникам слышать от рабочих столь „буржуазные“ рассуждения! Но еще тяжелее поразило их почудившееся им в письме презрение Союза к крестьянству. Дело в том, что, защищая свое требование политической свободы, авторы письма сказали, между прочим, что ведь они, рабочие, не Сысойки. Это выражение истолковано было революционной интеллигенцией в смысле кичливого презрения к деревне. Но правильно ли было подобное истолкование? Конечно нет. Слова — „мы не Сысойки“ свидетельствовали только о том, что русские рабочие уже тогда стояли бесконечно выше того „просто­народья“, на которое ссылались все социалисты — противники политической свободы. С давних пор наши социалисты „из интеллигенции“ утверждали, что „просто­народью“ не нужно свободы печати, так как книг и газет оно не читает и, следовательно, цензурным уставом не интересуется; что ему не нужно политических прав, так как, задавленное бедностью, оно политической жизнью своей страны не интересуется; что его интересы затрагиваются только экономическими порядками, политические же формы для него безразличны и т. п., и т. п. Так рассуждал иногда еще Чернышевский, и так же рассуждали и мы, когда предостерегали рабочих от увлечения политикой. Но развитому рабочему очень трудно было согласиться с нами. „Как же это так? Простому человеку не нужно свободы печати, потому что он ничего не читает; не нужно политических прав, потому что он не интересуется борьбою политических партий! Что же хорошего в простом человеке, отличающемся подобными отрицательными свойствами? Ведь это Сысойка! И ведь пока просто­народье

¹⁾ К сожалению, у меня нет № 5 „Земли и Воли“, в котором появилось письмо рабочих, и окончания 4-го №, содержащего вышеупомянутую заметку редакции. Поэтому я указываю только на общий смысл поднявшейся полемики, который я очень хорошо помню.

будет состоять из Сысоек, социализм останется несбыточной мечтою! Просто­народье должно читать, и потому должно добиваться свободы печати; оно должно интересоваться политическими делами своей страны, и потому должно добиваться политических прав; оно должно иметь свои союзы и собрания, и потому должно добиваться свободы союзов и собраний. И не только должно. Оно отчасти уже читает книги, уже чувствует потребность в союзах и собраниях, уже стремится выступить на политическую арену. Оно уже переросло Сысоек. Мы, рабочие, уже не таковы, каким воображают народ его интеллигентные доброжелатели. Доказательством этому служит наше собственное движение. Но все это только начало. Если мы хотим итти вперед, нам непременно нужно сбить заграждающие наш путь полицейские рогаки!“ Вот — смысл ответного письма Союза и в особенности слов: „мы не Сысойки“. Может быть, авторы письма не выяснили его себе тогда со всех сторон; может быть, Сысоек они упомянули не затем, чтобы одним метким словом характеризовать тот идеальный „народ“, которого бунтари готовы были противопоставлять будто бы зараженному буржуазным духом петербургскому пролетариату. Но характеристика все-таки была дана, хотя бы и не преднамеренно. „Северно-Русский Рабочий Союз“ сознавал, что он состоит не из Сысоек. И именно это сознание свидетельствовало об его политической зрелости.

Как бы там ни было, будущий историк революционного движения в России должен будет отметить тот факт, что в семидесятых годах требование политической свободы явилось прежде всего в рабочей программе. Это требование сближало „Северно-Русский Рабочий Союз“ с западно-европейскими рабочими союзами, придавало ему социал-демократическую окраску. Говорю — окраску, потому что вполне социал-демократическую программу Союза признать было бы невозможно. В нее вошла не малая доза народничества. Этой прилипчивой болезни трудно было избежать в России, да притом авторы программы, разойдясь с нами по коренному вопросу о политической свободе, не чужды были, кажется, желания позолотить пиллюлю, порадовав нас народническими требованиями.

Напечатанная в виде отдельного листа программа Союза не была, к сожалению, перепечатана ни в одном революционном издании. Найти ее теперь можно было бы только в архивах покойного Третьего Отделения. Говоря о ней на память, я не могу входить ни в какие подробности.

Известие об основании Союза радостно встречено было рабочими всюду, куда доходило. Варшавские рабо-

чие приветствовали петербургскую организацию адресом, в котором говорили, что пролетариат должен быть выше национальной вражды и преследовать общечеловеческие цели. Союз отвечал им в том же духе, выражал надежду на скорую победу над общими врагами и заявлял, что не отделяет своего дела от дела рабочих всего мира. Это был едва ли не первый пример дружеских сношений русских рабочих с польскими.

Союз не думал ограничивать поле своей деятельности одним Петербургом. Самое название его (*Северно-Русский союз*) принято было лишь на время, лишь до тех пор, пока не пристанут к нему рабочие провинциальных городов. Идеалом вожаков Союза была единая и стройная *всероссийская рабочая организация*.

V.

Что представляли тогда собою провинциальные рабочие? Насколько коснулось их революционное движение? Читатель знает, что пропаганда между рабочими считалась народнической интеллигенцией побочным делом; что ее революционные программы никогда не отводили рабочему классу самостоятельной роли. Главные силы интеллигентных революционеров направлялись на крестьянскую массу. Отсюда вытекали такого рода, на первый взгляд странные явления.

Как промышленный центр, Москва почти не уступает Петербургу. Но в Петербурге происходило значительное рабочее движение, в Москве оно было слабее, чем в Киеве или в Одессе. „Рабочее дело“ всегда было обязано своими успехами случайным причинам. Центром северно-русских революционных организаций интеллигенции являлся Петербург. Там всегда было много свободных революционных сил. И уже одного этого было достаточно, чтобы там началась пропаганда между рабочими. Из Москвы революционные силы стремились в Петербург, или даже в большие города юга. В Москве „рабочее дело“ могло бы начаться только в том случае, если бы ему придавалось самостоятельное значение. Но это условие отсутствовало, поэтому и было слабо в Москве „рабочее дело“.

В Саратове очень мало развита фабрично-заводская промышленность; тамошние рабочие — по преимуществу мелкие ремесленники, а между тем в 1877—78—79 г.г. там постоянно жил то тот, то другой „земледелец“, занимавшийся исключительно пропагандой между рабочими. Владимирская губерния усеяна фабриками, ее население местами сплошь состоит из фабричных рабочих, но никому из земледельцев и в голову не пришло поселиться во

Владимирской губернии. Поволжье считалось местностью, в которой крестьянство еще сохранило свои революционные „предания“. Поэтому оно избрано было главной ареной „бунтарской“ деятельности. В Самарской, в Саратовской, в Астраханской губерниях заводились „поселения в народе“, Саратов был главной квартирой действовавших „в народе“ земледельцев. Поэтому они считали полезным и нужным обеспечить себе поддержку его рабочего населения; когда поднимется поволжское крестьянство, придутся и саратовские рабочие. Во Владимирском же промышленном округе торжествовал капитализм, в этой несчастной местности с незапамятных времен прекратились значительные крестьянские движения, в ней умерли народные „предания“, исказились народные „идеалы“. Поэтому ходить туда земледельцам незачем. *Призрак оказался сильнее действительности*. Постоянно мелькавшие в воображении бунтарей тени Разина и Пугачева больше влияли на распределение революционных сил, чем действительный ход экономического развития. До какой степени ошибались бунтари в оценке живых сил народа, может показать следующий замечательный факт. В 1878 г. земледельцы много толковали о том, чтобы проникнуть в Ярославскую губернию. Вы подумаете, может быть, что их почему-либо привлекало к себе тамошнее рабочее население? Совсем нет, о тамошних рабочих забыли и думать. Тут была другая и уж поистине более тонкая причина. Из „Сборника правительственных сведений о раскольниках“ Кельсиева земледельцы узнали, что в Ярославской губернии процветала когда-то секта бегунов. Один бунтарь „слышал“ даже, что и теперь существуют бегуны в одном селе Ярославской губернии. Вот и думали снарядить экспедицию для их изловления. Но бегун потому и называется бегуном, что вечно бегаёт. Изловить его не так легко, как „поселиться“ среди мирноживущего под иггом своих „идеалов“ крестьянства. Увидя, что подступа к ярославским бегунам не имеется, бунтари махнули рукой на Ярославскую губернию. Интересоваться ею из-за одних рабочих не позволяла программа.

В тех провинциальных городах, где интеллигенция, по тем или другим причинам, находила нужным шевелить трудящееся население, рабочие кружки непрерывно существовали с самого начала семидесятых годов. Иногда их разбивала полиция, иногда, вяло поддерживаемые интеллигенцией, они действовали очень вяло, но в общем почва для революционной рабочей организации была и в провинции достаточно уже подготовлена.

В Одессе рабочая масса настолько сочувствовала революционерам, что во время суда над Ковальским (в июле

1878 г.) она принимала деятельное участие в демонстрации перед зданием суда¹⁾. Относительно Харькова у нас есть любопытное свидетельство местного губернатора. „Социальные учения,— писал он в своем „всеподданнейшем“ отчете за 1877-й г.— к счастью и несмотря на делаемые многочисленными попытки со стороны злоумышленников, можно сказать, вовсе еще не проникли в среду сельского населения, остающегося верным началам религии, нравственности и порядка. Нельзя того же сказать о низшем классе городского населения, которое, подкапываемое социальными учениями, во многом утратило прежнюю неприкосновенность религиозных верований и патриархальность семейных отношений. Класс фабричных рабочих, весьма многочисленный в Харькове²⁾, требует усиленного надзора и не представляет залогов устойчивости против распространения новых учений. В среде этого населения революционная пропаганда встречает постоянное сочувствие, и в случае какого-либо движения в смысле перехода от теории к действию, класс харьковских рабочих, в огромном большинстве своем, не представит опоры возмутителям. В этом отношении заслуживают особого внимания подслушанные агентом полиции в среде фабричного населения разговоры об обременительности податей, о неизвестности, на что и куда тратятся деньги, забираемые с народа, о бесконтрольности правительства и тому подобные суждения, неслыханные в простом народе еще несколько лет тому назад. Конечно, свобода суждений повременной печати могла частью навевать подобные мысли, но несомненно, что главные виновники подобного настроения фабричного населения это — распространители революционной пропаганды, усиленно работающие между фабричными городами Харькова. Вообще, политическое состояние губернии, спокойное в отношении массы сельского населения, поместного дворянства и вообще владельцев

¹⁾ См. статью „Одесса во время суда над Ковальским“ в № 2 „Земли и Воли“. „Из пяти дней судебного разбирательства три выпали на долю праздничных, когда народ не работает, говорит автор этой статьи. Это обстоятельство в значительной степени содействовало скоплению публики у здания суда“. Как вела себя эта, в значительной степени рабочая публика, читатель может видеть из той же статьи. Я приведу из нее только один эпизод. Когда войска оттеснили толпу от суда, часть ее направилась к Приморскому бульвару. „На бульваре аристократия сибаритничала за столами, уставленными напитками и яствами. — Сволочь! — обратился один рабочий к благодушествующим, — вы объедаетесь и опиваетесь в ту минуту, когда осуждают людей на смертную казнь! Палачи предают смерти одного из лучших сынов русской земли, а вы любуетесь прекрасными видами! Будьте вы прокляты!“ Это было сказано среди бела дня, под солдатскими ружьями и казацкими пиками.

²⁾ Это неверно, фабричных рабочих немного в Харькове, но не в том дело.

недвижимой собственности, весьма тревожно в отношении низших классов городского населения, учащейся молодежи и тех подонков общества, не имеющих чего терять, которые столь многочисленны в больших городах¹⁾. В отчете екатеринославского губернатора за 1879 г., наверное, заключались столь же резкие выражения по адресу „низшего класса населения“ Ростова-на-Дону. Известно, что у ростовской полиции были в том году большие неприятности с рабочими.

Не помню точно, в какой день праздника Пасхи полицейские схватили на базаре подгулявшего рабочего и потащили его в часть, как водится, не жалея пинков и подзатыльников. „Братцы, заступитесь,— кричал рабочий покрывавшему базарную площадь народу,— изувечат меня в части!“ Народ зашевелился; довольно значительная толпа рабочих последовала за удивившимися арестованного полицейскими, прося их отпустить его. Те отвечали ругательствами и, введя арестованного в здание части, принялись колотить его не на живот, а на смерть. Услышав его отчаянные крики, толпа стала бросать камни в окна и ломиться в ворота частного дома. Кто-то крикнул, что следует разнести всю часть. Сделать это было не так-то легко: ее крепкие ворота были заперты, в окнах нижнего этажа стояли городовые с обнаженными шашками и револьверами. Начался правильный приступ. Несколько дюжих молодых притащили откуда-то огромное бревно; толпа поняла их мысль, бревно схватили десятки рук; распевая „Дубинушку“, им стали действовать, как тараном, и через несколько минут ворота были выбиты. Народ ворвался в часть. Полицейские, которые успели тем временем сделать несколько выстрелов в нападавших, моментально скрылись через им одним известные ходы. В самое короткое время часть была разнесена.

Покончив с нею, толпа бросилась на остальные части, потом опустошила квартиры полицеймейстера и некоторых квартальных. О сопротивлении ей никто не думал. Полуживой от страха полицеймейстер прятался в Нахичевани, а военные власти Ростова не уверены были даже в том, что им удастся оборонить банк и острог (где сидело несколько

¹⁾ См. „Извлечение из всеподданнейшего отчета харьковского губернатора за 1877 год“ в № 2 „Земли и Воли“. „Подслушанные агентом полиции“ толки о „бесконтрольности правительства“ и т. д. показывают, что и харьковская рабочая среда начинала сознавать значение политических прав и политической свободы. Казалось бы, что нашим либералам нужно было прежде всего искать опоры в подобной среде. Но они, по крайней мере многие из них, ни о чем так охотно не рассуждают, как о незрелости и непригодности русского рабочего класса к борьбе за политическую свободу. Удивительно проникательные и глубокомысленные люди.

„политических“). Разумеется, полетели телеграммы к губернатору, из Новочеркасска двинулись для усмирения казаки, а в Таганроге стала готовиться к выступлению артиллерия¹⁾. Но, пока что, город был в руках „бунтовщиков“.

Я приехал в Ростов на другой же день после „разнесения“ частей и видел все его следы. Невозможно представить себе картины более полного опустошения. В зданиях частей выломаны были полы, выбиты стекла с рамами и двери с притолоками, разрушены печи, попорчены крыши. И на далекое расстояние мостовая, усеянная обломками мебели, покрыта была, как снегом, клочками порванных полицейских бумаг.

— Какая дикость! — воскликнет иной благовоспитанный читатель.

Конечно, — дикость. Но ведь противодействие равняется действию, и странно удивляться, что дикий произвол полиции вызывает дикую, подчас, ярость народа.

А в то же время заметьте, что эта разъяренная толпа умела сохранить свое достоинство. Никто из опустошителей не позволил взять себе ничего из уничтожаемого имущества полицейских. Это тогда же подтверждено было всеми очевидцами. Только, когда стали „разносить“ дом полицеймейстера и выкинули на улицу несколько штук прекрасного полотна, какой-то солдат попросил себе кусок на рубаху. Толпа удовлетворила просьбу „служивого“, тут же уничтожив весь остаток.

Еще одна черта. Разбивши одну часть и направляясь к другой, толпа проходила мимо еврейской синагоги. Мальчик кинул камень в ее окно. Его сейчас же остановили. „Не трогай жидов, — сказали ему, — нужно бить не жидов, а полицию“.

Настоящая „дикость“ выступила на сцену только ночью, в лице многочисленных в Ростове „босаяков“. Буйно провела эту ночь ростовская „босая команда“! Обрадовавшись отсутствию полиции, она прежде всего поспешила разграбить питейные дома, а потом, напившись до беспамятства, обрушилась на публичные дома и стала бить несчастных проституток. Явившиеся на следующее утро войска положили конец этим безобразиям, в которых рабочие совсем не участвовали и которыми они возмущались до такой степени, что без прихода войск их антиполицейское движение, вероятно, прекратилось бы в силу естественной реакции против подвигов босой команды.

¹⁾ Вскоре после этого я познакомился с одним из стоявших в Таганроге артиллерийских офицеров. „У нас офицеры говорили, что они не станут стрелять в народ“ — сказал мне мой новый знакомый. Не знаю, как другие, а этот человек не ограничился бы словами. Впоследствии он делом доказал свое сочувствие революционерам.

Несмотря на такой неожиданно-плачевный оборот ростовской „революции“, воспоминание о ней долго еще ободряло рабочих, как наглядный пример того, что народ может дать хороший урок даже и всемогущей в России полиции.

Мне рассказывали, что, когда слух о „разнесении“ ростовской полиции дошел до углекопов Донецких копей, они двинулись отрядом в 150—200 человек на помощь ростовцам, но дорогой узнали о восстановлении „порядка“ и поспешили возвратиться домой.

Что касается существовавших в провинциальных городах революционных рабочих кружков, то лично я знал такие кружки в Ростове, Саратове, Киеве и Харькове. По составу своему они были гораздо разнообразнее, смешаннее петербургских. В них попадались члены, по развитию и по высокому уровню потребностей не уступавшие петербургским заводским рабочим, но рядом с ними попадались и совсем „серые“, иногда неграмотные. Нередко преобладали в них мелкие самостоятельные ремесленники, и притом не подмастерья, а именно *хозяева*. В Петербурге я совсем не встречал подобных последователей социализма и чувствовал себя в странном положении, когда, случалось, революционер-*хозяин* советовал мне остерегаться его *работника*, как *ненадежного* человека. „Да, ведь, ты сам эксплуататор, ведь на тебя два рабочих трудятся“, — шутил иногда со своим приятелем-портным, переехавший из Петербурга в Саратов „заводской“ В. Я. Портной конфузился. „Да что ж делать-то, брат ты мой? Я и сам не рад, что теперь такие порядки, а жить-то тоже надо. Вот придет революция, тогда уж не буду эксплуататором“.

Мне хотелось допытаться, откуда берется недовольство у людей этого слоя, какая из темных сторон их положения яснее всего отражается в их сознании. „Очень уж нас притесняет дума, все городские расходы на нас, бедняков, сваливает“, — объяснил мне один ростовский мещанин, горячий революционер, имевший свою кузницу и нескольких подмастерьев. Возможно, что и многие другие ремесленники-революционеры были разбужены прежде всего безобразиями нашего городского „самоуправления“.

„Чарочка“, „пьянка“, к сожалению, слишком привлекательны иногда для русских ремесленников. В этом отношении они далеко оставляют за собою фабричных и заводских рабочих, у которых я редко замечал склонность к злоупотреблению спиртными напитками.

На Волге и на Дону между рабочими-революционерами попадались люди, прежде придерживавшиеся раскола. Раскол не имеет, да и никогда не имел, серьезного зна-

чения, как оппозиционная общественная сила. Часто он действует прямо вредно, приучая человека к обрядности, к буквредству, отвлекая его мысль от земных нужд к небесному блаженству. Но тяжелый жизненный опыт и потребность в чтении научили раскольников не бояться запрещенной книги и уважать людей, страдающих за свои убеждения. Землевозльцы „спропагандировали“ на Волге молодого бегуна, очень способного парня. По их просьбе он написал воспоминания о своей жизни между раскольниками. Из этих воспоминаний я как сейчас помню то место, где он рассказывает о своей встрече со ссыльными поляками. Совсем еще ребенком ехал он с отцом из Тюмени в одну из внутренних губерний Европейской России. По дороге столкнулись они с партией поляков. „Что это за люди?“—спросил мальчик отца. „А это, мой милый, поляки; их гонит начальство не хуже нас, грешных. Много горя принимают они от правительства“. Эта способность сочувствовать *политическому* „преступнику“ уже сама по себе может послужить залогом сближения с таким „преступником“, а потом—при благоприятных условиях—и полного усвоения его образа мыслей. И это тем более, что между раскольниками встречаются страстные и беспокойные искатели истины, неспособные надолго удовлетвориться сектантской догматикой. Я знал одного бывшего раскольника, который уже пятидесятилетним стариком пристал к революционной партии. Этот человек всю жизнь „ходил по верам“, забредал даже в Турцию, ища между тамошними раскольниками „настоящих людей“ и „настоящей правды“, и, наконец, нашел истинную правду в социализме, распростясь навсегда с небесным царем и всей душой возненавидев владык земных. Я не встречал более страстного, более неутомимого проповедника. Часто вспоминал он, бывало, о каком-то расколоучителе, очевидно, имевшем на него прежде сильное влияние. „Эх, кабы мне теперь встретить его, — восклицал он, — я бы объяснил ему, что есть истина!“ Он был душою рабочего кружка (где именно, не скажу, „страха ради иудейска“), и его нельзя было запугать никакими преследованиями. Он с самых юных лет знал, что хорошо „принять мученический венец“ за свои убеждения. Кончил он Сибирью.

Повторяю, всюду, где интеллигенция давала себе труд сходиться с провинциальными рабочими, она могла похвалиться очень заметным успехом. А если бы делу сближения с рабочими она посвятила хоть половину тех сил и средств, которые потрачены были на „поселения“ и на различные агитационные опыты в крестьянстве, то к концу семидесятых годов социально-революционная партия твердо стояла бы уже на русской почве. Рабочие охотно шли на

встречу интеллигенции¹⁾. И в Харькове, и в Киеве, и в Ростове на Дону, мне постоянно приходилось слышать одни и те же жалобы, одни и те же просьбы: „интеллигенция забывает о нас; займитесь рабочим делом; пришлите из Петербурга хоть нескольких знающих, ловких людей, — вы увидите, как пойдет оно в нашем городе“.

В виду этого, как нельзя более современным являлось намерение Центрального Кружка „Северно-Русского Рабочего Союза“ войти в правильные сношения с провинциальными рабочими. Между его членами были люди, которые и по знаниям, и по энергии, и по опытности могли поспорить с любым „интеллигентом“. Таков был, например, Степан Халтурин.

Я уже несколько раз упоминал его имя, занимающее одно из самых почетных мест в истории русского революционного движения. Пора поближе познакомить читателя с этой замечательной личностью.

VI.

Степан Халтурин родился в Вятке. Его родители, бедные мещане, посылали его в детстве в какую-то школу, а затем отдали в ученье к столяру. В начале семидесятых годов он приехал в Петербург, где скоро нашел место на заводе. Не знаю, когда именно и при каких обстоятельствах захватило его революционной волной, но в 1875—76 гг. он был уже деятельным пропагандистом. Если не ошибаюсь, в первый раз я встретился с ним дня за два до описанных в первой статье похорон убитых взрывом рабочих патронного завода. Я был в числе „бунтарей“, приглашенных принять участие в задуманной по этому поводу демонстрации, он—в числе рабочих, подготавливавших демонстрацию. Он был из тех людей, наружность которых не дает даже приблизительно верного понятия об их характере. Молодой, высокий и стройный, с хорошим цветом лица и выразительными глазами, он производил впечатление очень красивого парня; но этим дело и ограничилось. Ни о силе характера, ни о выдающемся уме не говорила эта привлекательная, но довольно заурядная наружность. В его манерах прежде всего бросалась в глаза

¹⁾ В шестидесятых годах в Саратове жил под надзором полиции, впоследствии оставивший Россию А. Х. Х. Он сблизился со многими местными рабочими. Они долго помнили его. В 1877 г. они рассказывали нам, землевозльцам, что со времени его пребывания в Саратове в местной рабочей среде никогда не потухала зароненная им искорка революционной мысли. Люди, никогда не знавшие его лично, вели от него свою умственную родословную. Такой глубокий след оставляет в этой среде всякое доброе влияние.

какая-то застенчивая и почти женственная мягкость. Говоря с вами, он как-будто и конфузился, и боялся обидеть вас некстати сказанным словом, резко выраженным мнением. С его губ не сходила несколько смущенная улыбка, которою он как бы заранее хотел сказать вам: „я так думаю, но если это вам не нравится, то прошу извинить“. Такими манерами отличались иногда в доброе старое время молодые, благовоспитанные провинциалы на первых шагах своей светской карьеры. Но к рабочему она мало подходила, и во всяком случае не она могла убедить вас в том, что вы имеете дело с человеком, который далеко не грешил излишней мягкостью характера и недостатком самоуверенности.

Близко сойтись с ним можно было только на деле. Рабочему вообще некогда вдаваться в те бесконечные беседования, которыми любит услаждаться интеллигентная публика и в которых собеседники выворачивают друг пред другом всю свою душу. Степан же в особенности не любил душевных излияний. Хотя во внешнем обращении застенчивость его исчезала при более близком знакомстве с человеком, однако, она всегда держала его настороже, делая для него совершенно невозможным то нравственное состояние, которое обозначается словами: „душа на распашку“. Побеседовать и он был не прочь и притом не только со своим братом-рабочим, но и с „интеллигентами“. Пока он был легальным, он даже охотно селился по соседству со студентами и искал их знакомства, заимствуя у них книгами и всякого рода сведениями. Не редко за полночь засиживался он у таких людей. Но и там он мало высказывался. Придет и поднимет разговор на какую-нибудь теоретическую тему. Хозяин оживится, обрадованный случаем просветить темного рабочего человека, говорит долго, вразумительно и по возможности „популярно“, а Степан слушает, лишь изредка вставляя свое слово и внимательно, несколько исподлобья, поглядывая на собеседника своими умными глазами, в которых по временам появляется выражение добродушной насмешки. В его отношении к студентам всегда была некоторая доля юмора, пожалуй, даже иронии: знаю, мол, я цену вашему радикализму; пока учитесь, все вы—страшные революционеры, а кончите курс да получите местечки, и как рукой снимет ваше революционное настроение! Посмеивался он также над студенческим трудолюбием. „Видал я, как они работают,—говаривал он,—разве это работа! Посидит часа два на лекциях, почитает час-другой книжку,—и готово, иди в гости чай пить и разговоры разговаривать!“ К рабочим он относился совсем иначе, подшучивать над ними не позволял ни себе и никому другому. В осо-

бенности—интеллигенции. Как огонь вспыхивал он, когда интеллигент делал при нем какой-нибудь не совсем лестный отзыв о рабочих. В рабочих видел он самых надежных, прирожденных революционеров и ухаживал за ними, как заботливая нянька: учил, доставал книги, „определял к местам“, мирил ссорящихся, журил виноватых. Его очень любили товарищи. Он знал это и платил им еще большей любовью. При всем том, не думаю, чтобы и в обращении с ними его покидала привычная сдержанность. Не знаю, как вел он себя с теми рабочими, которых привлекал к делу в революционных беседах с глазу на-глаз. Может быть, тогда он и давал волю всему, что кипело у него на душе. Но на кружковых рабочих собраниях он говорил редко и неохотно. Только в тех случаях, когда дело не клеилось, когда собравшиеся говорили что-нибудь несообразное, или уклонялись от предмета сходки, Степан прорывался. Краснобаем он не был,—иностранных слов, которыми любят пощеголять рабочие, никогда почти не употреблял,—но говорил горячо, толково и убедительно. Его речью и исчерпывались обыкновенно прения. И не потому, чтобы его выдающаяся личность давила окружающих. Между петербургскими рабочими были люди, не менее его знавшие и способные, были люди, больше его выдавшие на своем веку, пожившие за границей. Тайна огромного влияния, своего рода диктатуры Степана заключалась в неутомимом внимании его ко всякому делу. Еще задолго до сходки он переговорит со всеми, ознакомится с общим настроением, обдумает вопрос со всех сторон и потому, естественно, оказывается наилучше подготовленным. Он выражает общее настроение. То, что говорит он, сказал бы, вероятно, каждый из его товарищей, но они не так вдумчиво отнеслись к делу,—иные по лености, иные потому, что заняты были другими, может быть, даже гораздо более важными делами, а Степан ни к чему не мог относиться невнимательно. Не было такой ничтожной практической задачи, решение которой он беззаботно предоставил бы другим. Он приходил на собрание с совершенно установившимся взглядом на подлежащий обсуждению вопрос. Потому-то с ним и соглашались. А с другой стороны, потому-то он и досадовал, потому-то он и горячился, когда прения затягивались без толку. „Ведь это же все так просто, говорило его выразительное лицо, неужели же вас могут затруднять подобные пустяки?“

Халтурин отличался большою начитанностью. Это вызывало невольное уважение к нему, но и эта черта не могла особенно удивить человека, знавшего заводских рабочих: страстные любители чтения во все не были редкостью между ними. При ближайшем знакомстве оказывалось,

однако, что и читал Степан так, как умеют читать только немногие. Он всегда хорошо знал, зачем именно раскрывал такую-то книгу. К тому же *мысль* постоянно шла у него рука об руку с *делом*. У него, например, вовсе не было того интереса к естественным наукам, который замечается у многих рабочих. Все внимание его было поглощено общественными вопросами, и все эти вопросы, как радиусы из центра, исходили из одного коренного вопроса о задачах и нуждах нарождавшегося русского рабочего движения. О чем бы ни читал он,—об английских ли рабочих союзах, о великой ли революции, или о современном социалистическом движении,—эти нужды и задачи никогда не уходили из его поля зрения. По тому, что читал Халтурин, в данное время можно было судить о том, какие практические планы шевелятся в его голове. Еще задолго до организации „Северно-Русского Рабочего Союза“ он принялся изучать европейские конституции.

— Что это ты на них набросился?—спрашивали его.

— Да что же, ведь это интересно,—отвечал он.

Программа Союза лучше его объяснила, почему он набросился на конституции: он обдумывал политическую программу русских рабочих. В умственном труде, как и во всем остальном, Халтурин был силен умением сосредоточиться на данном предмете, не отвлекаясь от него ничем посторонним. Ум его до такой степени исключительно поглощен был рабочим вопросом, что ему едва ли когда случилось заинтересоваться пресловутыми „устоями“ крестьянской жизни. Он знакомился с интеллигентами, слушал их толки об общине, о расколе, о „народных идеалах“, но народническое ученье так и осталось для него чем-то почти совсем чуждым.

— Что ты пишешь теперь?—спросил он меня незадолго до своего поступления в Зимний дворец. Я ответил, что пишу разбор одной только что вышедшей книги по истории общинного землевладения. Это была очень серьезная книга, лично мне оказавшая огромную услугу, так как она впервые и очень сильно поколебала мои народнические воззрения, хотя я и спорил еще против ее выводов. Я был сильно заинтересован ею и подробно изложил Степану ее содержание. Он долго слушал, а потом вдруг спросил меня неожиданным вопросом: „Да неужели это действительно так важно?“ Община занимала самый почетный, передний угол в моем народническом миросозерцании, а он даже не знал хорошенько, стоит ли из-за нее ломать литературные копья.

Не легко было бы мне теперь определить его тогдашние социально-политические взгляды. Тогда я сам смотрел на вещи далеко не так, как смотрю в настоящее время.

Могу сказать одно: в сравнении с нами, землепользователями, Халтурин был крайним западником. Западничество развивалось и поддерживалось в нем как общими условиями исключительно интересной для него рабочей жизни столицы, так, может быть, отчасти и некоторыми случайными влияниями. С лавристами он познакомился раньше, чем с бунтарями, а лавристы умели, как уже сказано, возбудить в рабочих интерес к немецкому социал-демократическому движению. К тому же двое из близких товарищей Степана долго работали за границей, и западное влияние распространялось через них как лично на него, так и на весь Союз.

В Петербурге родственников у Степана не было. Жил он всегда одиноко, занимая небольшую комнатку на манер студенческой кельи. К обстановке и одежде своей он относился с равнодушием, достойным самого „интеллигентного“ нигилиста. Высокие сапоги, широкое, слишком длинное даже для его высокого роста пальто, на котором недостает нескольких пуговиц, довольно неуклюжая черная меховая шапка,—вот в каком костюме воскресает он теперь в моем воображении. Особого наряда для воскресенья у него, вопреки обычаю всех заводских рабочих, не полагалось. Разговорясь о деле где-нибудь в трактире или в портерной, он охотно выпивал бутылку-другую пива, но вряд ли когда принимал участие в веселых товарищеских пирушках. Других рабочих мне случалось иногда встречать подкутившими. Его—никогда.

И, однако, этот сдержанный, практичный человек, был, если хотите, большим фантазером. Его фантазия постоянно и далеко опережала действительные успехи русского рабочего движения. Довольно долго мечтал он об одновременной стачке всех петербургских рабочих. Такая мечта была, разумеется, несбыточной. Но и она принесла свою пользу: Степан неумоимо носился из одного предместья в другое, везде заводил знакомства, везде собирал сведения о числе рабочих, о заработной плате, о продолжительности рабочего дня, о штрафах и т. д. Его присутствие везде действовало возбуждающим образом, а сам он приобретал новые драгоценные сведения о положении рабочего класса Петербурга. Задавшись мыслью о стачке, он, по своему обыкновению, стал искать подходящих указаний в книгах. Ему нужно было узнать численность петербургского рабочего населения. Но статистика мало дала ему в этом отношении. „Удивительное дело,—не раз говорил он мне,—статистические данные о петербургских фабриках и заводах совсем никуда не годятся. Там, где на самом деле триста рабочих, их показано пятьдесят, там, где пятьдесят—записано сто или двести. А вообще в

Петербурге несравненно больше рабочих, чем считает статистика". Как же помочь горю? „Мы сами соберем нужные сведения лучше всяких статистиков“, — решил Степан, и принялся разносить по фабрикам и заводам особые листки, требуя от знакомых рабочих, чтобы те вписывали точные ответы на поставленные в листках вопросы. Не все отвечали обстоятельно, иные и вовсе забывали ответить. Но через короткое время у Степана все-таки собралось множество данных. Относительно некоторых фабрик он хвалился мне, что ему удастся точно высчитать все расходы и все доходы хозяев и таким образом определить степень эксплуатации работников. Относящиеся сюда выводы он собирался напечатать в отдельной брошюре.

Очень увлекался он также мечтами о будущей все-русской организации. Когда он заговаривал о ней, собеседнику, под влиянием его горячей веры, невольно начинало казаться, что препятствия уже устранены, связи повсюду заведены, организация существует, и остается только работать для ее дальнейшего развития. Но и в этих мечтах не было ничего маниловского. Еще летом 1878 г., за несколько месяцев до основания „Северного Союза“, Халтурин отправился на Волгу, переходил там с завода на завод, и вступил в тесные сношения с тамошними рабочими. Собирался он пробраться и на Урал, но петербургские товарищи убедили его вернуться в Петербург. Он там был слишком нужен.

Тотчас по основании „Северного Союза“ возникла мысль об издании рабочего журнала. Автор статьи „*Пребывание Халтурина в Зимнем дворце*“¹⁾ приписывает эту мысль исключительно Степану. Он ошибается. Кому принадлежала мысль об издании „Земли и Воли“? Всем землевольцам вообще и никому в частности. То же приходится сказать и относительно предполагавшегося издания рабочей газеты. Потребность в ней давно уже чувствовалась рабочими. Выходившая в 1875 г. в Женеве анархическая газета „Работник“ была первой попыткой удовлетворения этой потребности. Изданием „Работника“ деятельно интересовались многие из рабочих, вошедших потом в „Северно-Русский Рабочий Союз“. Когда землевольцы завели тайную типографию в Петербурге, мысль о рабочей газете приняла новую форму. Стали говорить, что орган русских рабочих должен печататься в России. Возрастающие успехи рабочего движения делали его все более и более необходимым. Вопрос о нем стал очередным вопросом. При этом Степан был молчаливо и единогласно при-

¹⁾ Календарь „Народной Воли“.

знан редактором будущей газеты. Таким образом, он стал головою дела, почин которого принадлежал всему Союзу.

Будущий редактор держался того мнения, что газета должна иметь чисто агитационный характер. У Союза было много связей в рабочем мире. В достоверных сообщениях о темных сторонах фабрично-заводского быта недостатка быть не могло. Появление их в печати сочувственно встретили бы все рабочие. Таким сообщениям и должно было принадлежать главное место на столбцах газеты. Автором передовых статей оставалось бы лишь надлежащим образом освещать эти, непосредственно из жизни взятые, материалы. С распространением организации на провинциальные города явилась бы возможность обеспечить себе иногородные известия. Все это было очень практично, и казалось бы, что общество „Земля и Воля“ должно было всеми силами поддерживать задуманное рабочими предприятие. Землевольцы много сделали для развития рабочего движения в России. Отстраняться от него теперь, когда оно стало так быстро расти и крепнуть, было бы по меньшей мере странно. Они и не отстранялись от него сознательно, но незаметно для них жизнь придавала их деятельности совершенно новый характер.

VII.

Уже к весне 1879 г., т. е. в то время, когда „Северно-Русский Рабочий Союз“ насчитывал едва несколько месяцев существования, общество „Земля и Воля“ из *бултарского*, каким оно было прежде, на половину превратилось в *террористическое*. Те из его членов, которые остались верны старой программе, жили большей частью „в народе“, „в поселениях“, раскинувшихся в разных местах нижнего и среднего Поволжья, на Дону, в Воронежской и Тамбовской губерниях. Большинство же живших в Петербурге землевольцев с ревностью новообращенных стояло за террористическую деятельность, или, как тогда выражались, за *дезорганизацию правительства*. „Рабочее дело“ никем не отрицалось в принципе. Но на деле посвящавшиеся ему силы и средства стали убывать очень и очень заметно. Многие молодые революционеры, начавшие свою деятельность „занятием с рабочими“, оставили это занятие под влиянием проповедывавших „дезорганизацию“ землевольцев. Революционное движение интеллигенции становилось, несомненно, более *острым*, но русло его все более и более *суживалось*. О вовлечении в борьбу *народной массы* переставали думать. Задача движения сводилась к единоборству между *правительством* и *революционной интеллигенцией*. В апреле 1879 г., за несколько дней до выстрела

Соловьева, мне пришлось оставить Петербург, и я передал „сношения с рабочими“ покойному Ширяеву. Вернувшись осенью того же года, я застал Халтурина в сильном негодовании против интеллигенции вообще, а против нас, землевольцев, в особенности. „Человек, с которым ты познакомил меня пред своим отъездом,—говорил он,—был у нас один раз, обещал доставить шрифт для нашей типографии, а потом исчез, и я не видался с ним два месяца. А у нас уж и станок сделан, и наборщики есть, и квартира готова. Остановка только за шрифтом. Да и кроме шрифта, есть важное дело, нужно переговорить с кем-нибудь из ваших, а где искать их—неизвестно“¹⁾. Я был уверен, что явившееся у Степана новое важное дело относится, как и всегда, к рабочему движению. Вышло не так.

С самого основания своего „Северно-Русский Рабочий Союз“ поставлен был террористической тактикой интеллигенции в довольно затруднительное положение. С каждым новым террористическим фактом росли полицейские строгости, умножались обыски, аресты и ссылки. Для нелегальных революционеров этот белый террор до поры до времени был почти совершенно безвреден, так как им удавалось скрывать свои следы от самых опытных сыщиков. В ином положении были легальные революционеры, чем-нибудь успевшие обратить на себя неблагосклонное внимание синего начальства. Они должны были готовиться к самым неприятным неожиданностям. В рабочем Союзе нелегальных было немного: кроме Халтурина, нелегального с 1878 г., еще, может быть, два-три человека. Но зато многие,—и часто самые деятельные, опытные и влиятельные—легальные члены его давно уже находились у полиции на дурном счету. Им плохо приходилось от белого террора. Их хватили, держали в тюрьмах, ссылали. Подобные потери тяжело отзывались на неокрепшей еще организации, и неудивительно, что „Северно-Русский Рабочий Союз“ сначала очень неодобрительно относился к новому приему революционной борьбы. „Чистая беда,—воскликнул Халтурин,—только-только наладится у нас дело,—хлоп! шаркнула кого-нибудь интеллигенция, и опять провалы. Хоть немного бы дали вы нам укрепиться!“ Но революционный террор все усиливался: усиливался и белый. Провалы уча-

¹⁾ При тогдашнем положении дел—выезд из Петербурга всех „нелегальных“ землевольцев (а таких было большинство) пред выстрелом Соловьева, суматоха, вызванная летними революционными съездами в Липецке и Воронеже, и, наконец, совершившееся осенью формальное разделение общества „Земля и Воля“—трудно было винить Ширяева за его халатность. Но Халтурин не знал этих смягчающих обстоятельств, и потому досада его совершенно понятна.

щались. Выстрел Соловьева довел полицейские строгости до неслыханной степени. Вместе с тем он же указывал, повидимому, и выход из невыносимого положения. Падет царь, падет и царизм, наступит новая эра, эра свободы. Так думали тогда очень многие. Так стали думать и рабочие.

Летом 1879 г. кому-то из членов Союза предложено было место столяра в Зимнем дворце. Он сообщил об этом своим ближайшим товарищам. „Что ж, поступай,—заметил один из них,—кстати уж и царя прикончишь“. Это было сказано в шутку. Но шутка произвела на присутствовавших глубокое впечатление, они серьезно задумались над цареубийством. Призвали на совет Халтурина. На первый раз он высказался неопределенно: посоветовал только не болтать да разузнать получше о предлагаемом месте. Ему хотелось хорошенько обдумать это дело, причем он тут же, вероятно, решил, что если найдет его возможным и полезным, то сам же за него и возьмется. А подумать ему было о чем. Как ни жутко приходилось Союзу от белого террора, но его положение все таки было совсем не безнадежно. Это доказывал уже тот факт, что, несмотря на полицейские строгости, рабочие могли сделать почти все необходимые приготовления к изданию своей газеты. Сношения с провинциальными городами только что начинались и опять таки, несмотря на все строгости, сулили успех. Намеченные полицией члены Союза высылались один за другим, но на их место являлись новые, не намеченные, которые при осторожном ведении дела, могли долго продержаться. Новое покушение на жизнь Александра II, в случае неудачи, наверное причинило бы Союзу новые потери, тем более, что самому Халтурунину приходилось итти почти на верную смерть. Он знал, какое расстройство внесет его гибель в дела Союза. Но все эти соображения не устояли пред одним: смерть Александра II принесет с собою политическую свободу, а при политической свободе рабочее движение пойдет у нас не попрежнему. Тогда у нас будут не такие союзы, с рабочими же газетами не нужно будет прятаться¹⁾. Степан недолго колебался. Доступ во дворец был обеспечен. Оставалось запастись взрывчатыми веществами.

Как вел себя Халтурин в Зимнем дворце,—рассказано в Календаре „Народной Воли“²⁾. Читателю известно, вероятно, какую смелость и какое самообладание проявил он там. Арест Квятковского, у которого найден был план Зимнего дворца, поставил Халтурина, по словам автора рассказа, „в истинно-каторжное положение“. На взятом у

¹⁾ Подлинные слова Халтурина.

²⁾ „Халтурин в Зимнем дворце“.

Квятковского плане царская столовая была отмечена крестом, и это обстоятельство заставило дворцовую полицию подозрительно относиться к столярам, жившим в подвальном этаже, как раз под столовой. В одной комнате с Халтуриним поместили жандарма; дворцовую прислугу часто и неожиданно обыскивали; динамит приходилось хранить под подушкой; предприятие, а с ним и жизнь Степана, постоянно висели на волоске. С поразительным хладнокровием обошел он все трудности, преодолел все препятствия, и когда приготовления были окончены, когда уже зажжен был роковой фитиль, он „просто восхитил Желябова“ тем спокойствием, с которым произнес „словно фразу из самого обычного разговора“, многозначительное „готово“. Только последующее его состояние показало, как страшно был он измучен. Придя после взрыва на приготовленную для него конспиративную квартиру, „усталый, больной, он едва мог стоять и только немедленно справился, есть ли в квартире достаточно оружия. Живой я не отдамся“, — говорил он.

„Известие о том, что царь спасся, подействовало на Халтурина самым угнетающим образом. Он свалился совсем больной, и только рассказы о громадном впечатлении, произведенном 5-м февраля на всю Россию, могли его несколько утешить, хотя никогда он не хотел примириться со своей неудачей“¹⁾. Не того ожидал он от своей попытки...

После 5-го февраля он продолжал действовать более двух лет. Пробовал он вернуться к своему любимому „рабочему делу“. Но логика раз принятого способа действий ставила свои неотразимые требования. Степан снова пошел на „террор“. Известно участие его в убийстве Стрельникова. Он умер на виселице 22 марта 1882 года. При аресте он храбро защищался вооруженной рукой.

Вскоре по поступлении Халтурина в Зимний дворец, я вынужден был оставить Россию. С тех пор о ходе русского рабочего движения я мог знать только по рассказам действовавших после меня товарищей. Автор статьи „Пребывание Халтурина в Зимнем дворце“ говорит, что „Северно-Русскому Рабочему Союзу“ удалось таки приступить к изданию газеты, которая, однако, вместе с типографией была арестована при наборе первого же номера и не оставила по себе ничего, „кроме памяти о попытке чисто рабочего органа, не повторявшейся уже потом ни разу“²⁾. Затем прекратилось и самое существование Союза. Пови-

¹⁾ Календарь. Историко-литературный отдел, стр. 48.

²⁾ Автор относит эту попытку ко времени, предшествовавшему поступлению Халтурина во дворец. Но это ошибка.

димому, на его судьбе отразились программные разделения тогдашней интеллигенции. Несомненно, по крайней мере, что уже в 1880 году появляются между петербургскими рабочими сторонники „партии Народной Воли“ (см. программу рабочих этой партии, опубликованную в ноябре 1880 г.) и сторонники „Черного Передела“. В восьмидесятих годах в разное время издавалось в России несколько рабочих журналов: „Рабочая Газета“ (с 15 декабря 1880 до конца 1881), „Зерно“ (приблизительно около того же времени, „Рабочий“ (в 1885 г.). Правда, рабочие были только читателями этих журналов, редактировались же они „интеллигенцией“, но это было, что называется, только полгоря. Во второй половине восьмидесятых годов перестали появляться в России и такие издания. Наступило, казалось, полное затишье. Но раз зажженный огонек мысли не погас в рабочей среде, как об этом свидетельствует даже легальная печать. Почти совершенно оставленный интеллигенцией рабочий продолжал расти умственно и нравственно. Уже несколько лет тому назад Г. И. Успенский мог поздравить русских писателей с „новым грядущим читателем“. Недалеко то время, когда „интеллигентных“ противников самодержавного правительства можно будет поздравить с новым, непобедимым политическим союзником.

Когда наша революционная „интеллигенция“, чувствуя недостаточность своих сил, спрашивает себя, где искать поддержки, ее доброжелатели дают ей часто довольно странные ответы: „в обществе“, „в офицерской среде“ и т. п., и т. п. О рабочих такие доброжелатели интеллигенции вспоминают редко и неохотно. О вкусах, конечно, не спорят, но факт тот, что русские рабочие внесли в освободительное движение последних двадцати лет несравненно больше сил, чем почтенное военное сословие, или — и в особенности — наши милые, добрые, образованные, но решительно никуда негодные либералы. А ведь до сих пор совершились только первые, правда, самые трудные, но зато и самые слабые шаги нашего рабочего движения. Что же будет дальше? Людям, претендующим на политическую дальновидность, не мешало бы подумать об этом.

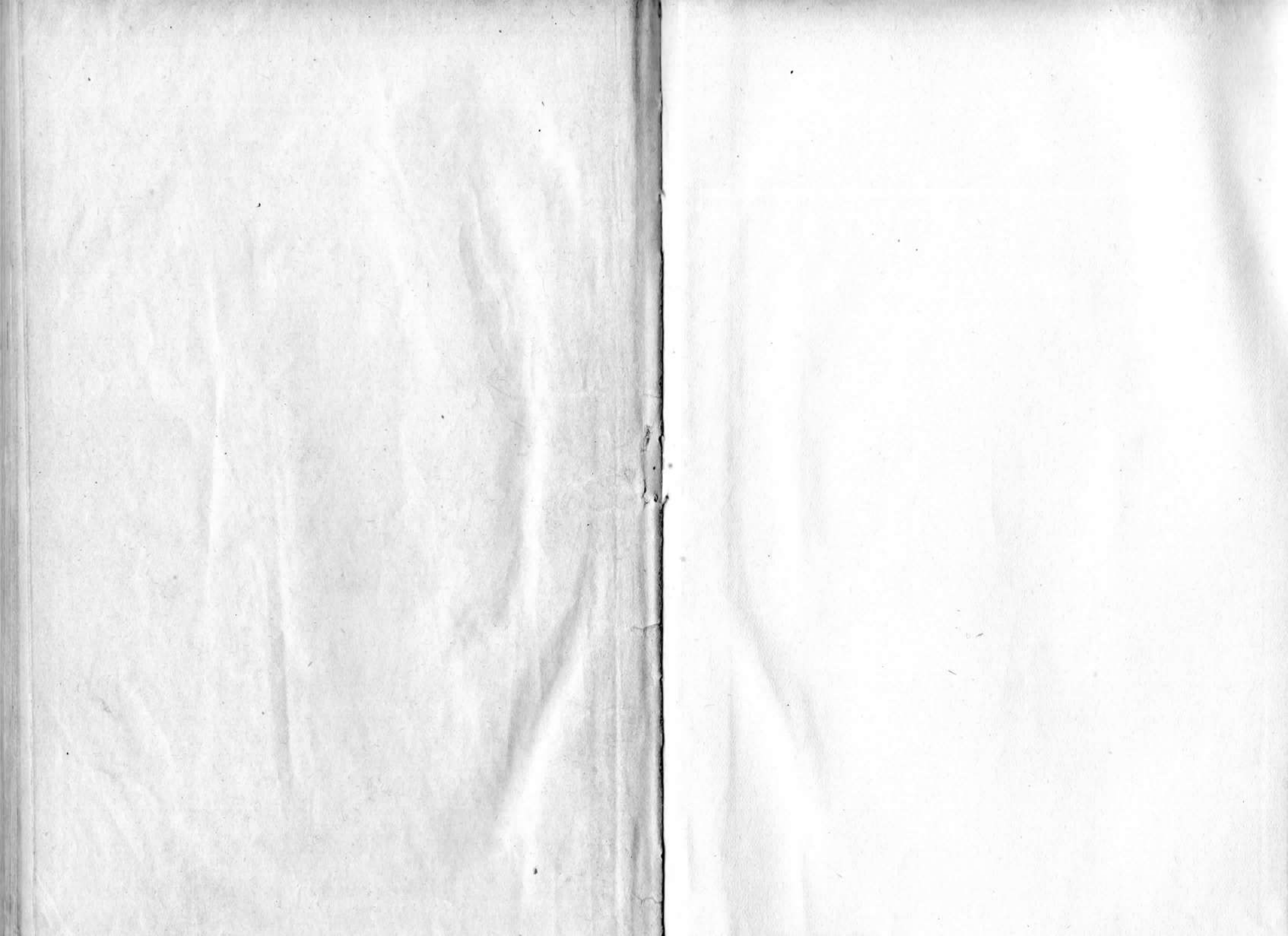
История давно и безвозвратно осудила русское самодержавие. Но оно существует и будет существовать до тех пор, пока та же история не заготовит достаточно сил для исполнения своего приговора. Она деятельно заготавливает их, беря их отовсюду. Пролетариат — самая могучая из создаваемых ею новых общественных сил. Пролетариат это тот динамит, с помощью которого история взорвет русское самодержавие.

Но рабочему классу не годятся старые, более или менее фантастические революционные костюмы интелли-

генции. Наши рабочие, уже в *семидесяти* годах видевшие слабые стороны *народничества*, в *девяностых* годах сознательно станут под знамя всемирной рабочей партии, под знамя социал-демократов.

Пусть же поскорее наступает эта счастливая пора! Много света внесет она в нашу темную жизнь!

Г. Плеханов.



ВП 53-951/4

Вс

Вс

Вс

37.62.1.256 a